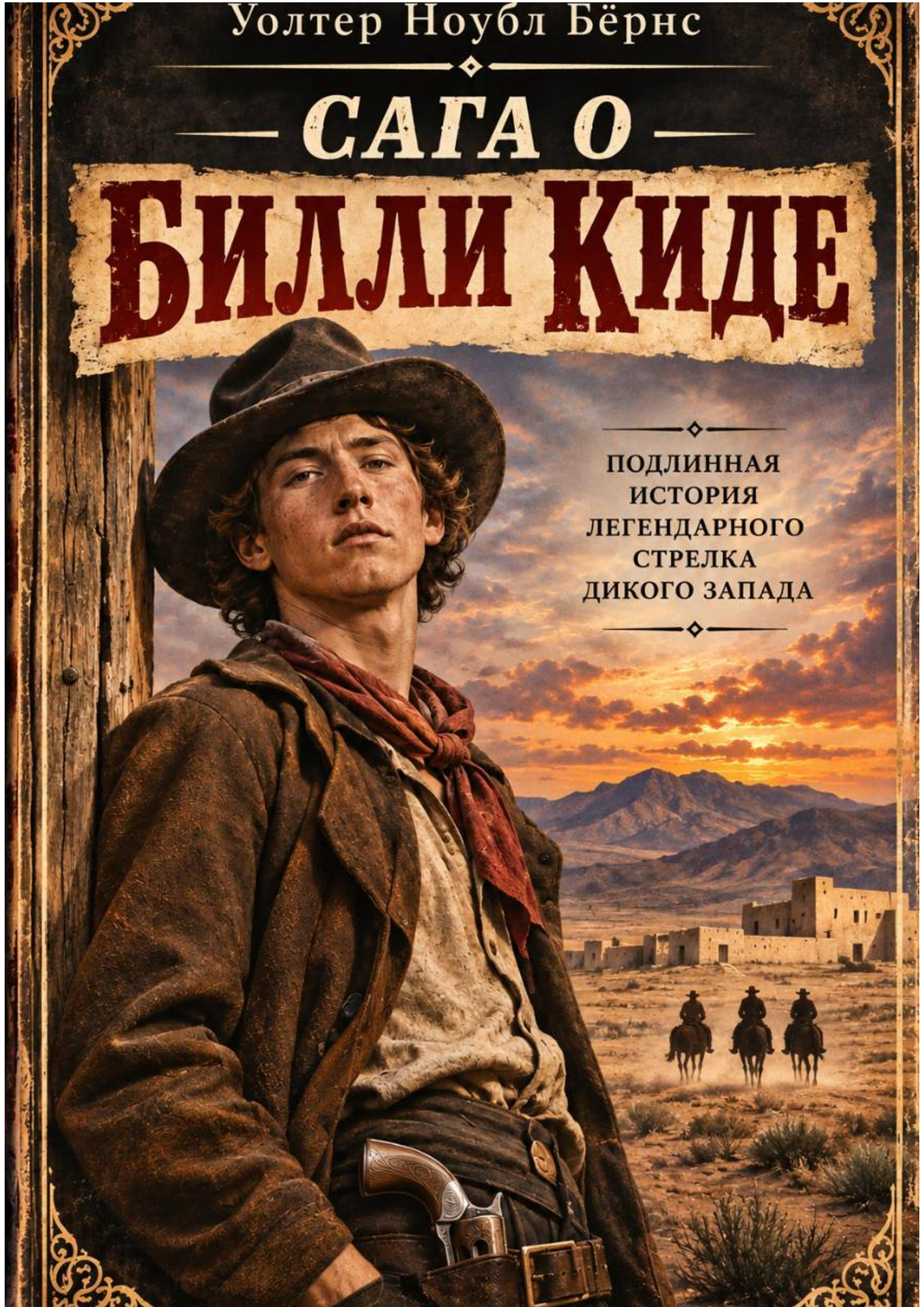
Уолтер Ноубл Бёрнс

САГА О БИЛЛИ КИДЕ



ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО СТРЕЛКА ДИКОГО ЗАПАДА

Уолтер Бёрнс

Сага о Билли Киде

«Автор»
2026

Бёрнс У. Н.

Сага о Билли Киде / У. Н. Бёрнс — «Автор», 2026

Нью-Мексико, вторая половина XIX века. На землях Дикого Запада закон нередко уступает дорогу револьверу, а верность другу оборачивается кровной местью. Юный Билли Кид появляется на фронтире почти ниоткуда — и вскоре его имя становится легендой. Убийство английского скотовода Джона Танстолла разжигает войну в округе Линкольн: за влияние и богатство сражаются хозяева края, наёмные стрелки и люди, которым нечего терять. Засады, отчаянные погони, дерзкие побеги, кровавые расправы и противостояние с шерифом Пэтом Гарреттом складываются в историю человека, которого одни именовали убийцей, а другие — героем. Уолтер Ноубл Бёрнс обращается к свидетельствам очевидцев, чтобы оживить мир старого пограничья и показать, как короткая жизнь Билли Кида превратилась в одну из самых известных легенд Америки. Оригинальное произведение является объектом общественного достояния.

© Бёрнс У. Н., 2026
© Автор, 2026

Уолтер Бёрнс
Сага о Билли Киде

УОЛТЕР НОУБЛ БЁРНС
САГА О БИЛЛИ КИДЕ





1926
Garden City Publishing Co., Inc. · Гарден-Сити, Нью-Йорк

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
Авторское право, 1925, 1926: Doubleday, Page & Company. Все права защищены.
Напечатано в Соединённых Штатах Америки в типографии Country Life Press, Гарден-Сити, Нью-Йорк.

Моей жене

СОДЕРЖАНИЕ

I. Король долины 1
II. Властелин гор 25
III. Грозовые тучи 43
IV. Первая кровь 54
V. Кид 63
VI. Дитя тёмной звезды 83
VII. Око за око 100
VIII. Тринадцать против одного 109
IX. Утренняя прогулка шерифа 120
X. Трёхдневная битва 135
XI. Человек, притворившийся мёртвым 167
XII. Мир на волоске 173

XIII. Незнакомец из Техасского выступа 193
XIV. Красавица старого Форт-Самнера 208
XV. В западне 230
XVI. Нависшая тень 248
XVII. Небольшая партия в монте 264
XVIII. Манящие чёрные глаза 292
XIX. Свидание с судьбой 303
XX. Адский угол 331
XXI. Конец пути 343

ГЛАВА I

КОРОЛЬ ДОЛИНЫ

Джон Чизум знал толк в коровах. Этим приблизительно исчерпывались все его познания. Поэтому с годами он стал скотопромышленным королём. Не мелким властителем нескольких разбросанных загонов, а по божественному праву ума, дальновидности и понимания скота — бесспорным монархом, владычествовавшим над огромными стадами и бескрайними пастбищами. На вершине своей карьеры он владел большим количеством скота, чем любой другой человек в Соединённых Штатах, если не во всём мире, и сто тысяч голов, отмеченных его знаменитым тавром «Лонг-Рейл и Джингл-Боб», паслись почти на половине территории Нью-Мексико, от уступов Льяно-Эстакадо на западе до Рио-Гранде и от Севен-Риверс и Хорнадо-дель-Муэрто на юге до реки Канейдиан на севере.

Чизум прибыл в Нью-Мексико в 1867 году как поселенец, но поселенец королевского размаха. Его самого и всё его достояние доставила туда вовсе не «прерийная шхуна», раздувшаяся от натянутого на дуги белого полотна, с высоко нагромождёнными домашними пожитками и постельными принадлежностями и с кастрюлями и сковородками, звеневшими на каждом ухабе. Он прибыл с десятью тысячами голов скота и свитой загорелых и обветренных всадников техасских пампасов, с обозом повозок, табуном сменных ковбойских лошадей и всей пылью, грохотом, пышностью и великолепием королевского шествия по пограничным землям. Он не подавал заявки на четверть секции казённой земли, чтобы построить там хижину, пахать и трудиться ради скудного пропитания, а застолбил себе целое королевство, простиравшееся за все четыре горизонта нового мира пастбищ.

Из округа Кончо в Техасе он отправился в своё великое переселение ещё дальше на запад. Его путь лежал через земли, поросшие мескитом и опунцией, к югу от Льяно-Эстакадо, к переправе Хорсхед через Пекос. Затем его огромное стадо двинулось вверх по долине Пекоса на север — нескончаемая колонна коров, голова которой скрывалась за одним горизонтом, а хвост — за другим, медленно и извилисто плывшая вперёд, словно живая река, по десять миль в день через волны низкой травы безлесной пустоши.

Скот в стаде Чизума принадлежал к старинной техасской длиннорогой породе; единственной, какую знал Юго-Запад в те давние времена; это были потомки животных, завезённых из Андалусии в Мексику во времена испанского завоевания; поджарые, гибкие, чуткие и проворные, как олени, полудикие оттого, что и зимой и летом сами добывали себе пропитание на открытых пастбищах без всякого присмотра; с длинными белыми и сизыми, гладкими и блестящими рогами, изогнутыми, как ятаганы, острыми, как штыки, и нередко достигавшими шести футов от кончика до кончика. Теперь такого скота не встретишь нигде между Рио-Гранде и канадской границей. Эти животные исчезли, подобно бизонам, их порода растворилась в результате скрещивания, и только капля их буйной крови осталась в помесях тучных, холёных шортгорнов, чёрных ангусов и беломордых герефордов, которые теперь пасутся на их прежних землях.

Направляя движение и охраняя стадо от паники или набегов индейцев, ковбои во время долгих переходов ехали в голове, по флангам и в хвосте стада и на ночных стоянках под звёздами напевали коровам свои колыбельные песни; на поясах у них висели шестизарядные револьверы, а винтовки были приторочены к лукам сёдел; сами они составляли полудикое племя людей, рождённых для седла на техасских равнинах, столь искусных наездников, каких только знал свет, столь же ловких в обращении с оружием, как и в верховой езде, суровых парней, готовых к любой потасовке; мужество и верность были столь же неотъемлемой частью их наследства, как лишения и опасности.

Долгое путешествие закончилось в тридцати пяти милях к северу от нынешнего небольшого города Розуэлл. Там, где Пекос делает крутой изгиб, а долина расширяется плоскими лугами, окаймлёнными холмами с плоскими вершинами, Чизум основал ранчо в тополиной роще на берегу реки, впоследствии прославившееся на всём Юго-Западе под названием Боске-Гранде, и принялся упорной борьбой добывать себе процветание и королевское величие.

Чизум родился в Теннесси в 1824 году. Его семья была связана с Югом с тех пор, как первый её английский предок ступил на землю Виргинии в ранний колониальный период. Его отца и мать звали Клейборн и Люси Чизум. Не было нужды спрашивать, из какой части страны родом человек по имени Клейборн; это имя столь же южное, как кукурузная каша, сорговая патока или кукурузные лепёшки. Когда Джон Чизум родился, сам Теннесси ещё оставался пограничным штатом. Дикая страна по ту сторону Миссисипи стала территорией Соединённых Штатов всего двадцать один год назад благодаря покупке Джефферсоном Луизианы у Наполеона.

Будучи уроженцем пограничных земель, Клейборн Чизум обладал сильным духом первопроходца и в 1837 году, погрузив в крытый фургон свою семью, всё домашнее имущество и семейные святыни, отправился на запад через дикие, почти нехоженые земли за Миссисипи и поселился неподалёку от нынешнего города Париж, чуть южнее Ред-Ривер, северной границы Техаса.

Техас тогда был республикой и оставался ею до 1843 года, когда вошёл в Союз. Война за его независимость завершилась победой всего годом раньше. Санта-Ана и его мексиканская армия, разбитые при Сан-Хасинто, навсегда отступили за Рио-Гранде, а новая, ликующая нация всё ещё оглашала окрестности рассказами о решительной победе храброго старого Сэма Хьюстона и о героизме Крокетта, Трэвиса, Боуи и других мучеников за свободу Техаса, павших в Аламо.

Здесь, на пограничных землях, Джон Чизум вырос и стал мужчиной. Если что-то и выделяло его в молодые годы более всего остального, так это здравый деловой смысл, способность ясно разглядеть возможности будущего в благоприятных обстоятельствах сегодняшнего дня — качество, называемое дальновидностью. Пока другие молодые люди шли куда глаза глядят, он следовал определённому плану достижения успеха. Пока они танцевали, он неуклонно двигался вперёд. Пока они ради забавы стреляли по мишеням, он со всей серьёзностью целился в будущее.

Поселенцы начинали прибывать во всё большем числе. Земли хватало на всех, и получить её можно было за бесценок. Земли должно было хватать ещё долгие годы. Но в будущем настало бы время, когда земля стала бы дорогой. Поэтому молодой Чизум приобретал землю. На своей земле он разметил место для города Париж. Он помог построить первый дом этого будущего города. Он наблюдал, как рос город, и по мере его роста росло его собственное состояние. Он стал подрядчиком и строителем. Он построил первое здание суда в Париже. В этой работе впервые проявился гений этого человека. Всем своим существом он был строителем — сперва строителем городов, позднее, в Нью-Мексико, строителем штата, а в конечном счёте, по своему отношению к Юго-Западу и всей стране, строителем империи.

В 1854 году он занялся скотоводством. На протяжении трёх лет он ежегодно перегонял скот в Шривпорт на Ред-Ривер в Луизиане, откуда его отправляли на рынки городов на Миссисипи — Мемфиса, Виксберга, Натчеза и Нового Орлеана — на пароходах. В поисках лучших пастбищ он в 1857 году перебрался в округ Дентон, а затем, в 1863 году, в округ Кончо. Он оставался на реке Кончо, пока в 1867 году не снялся с места и не отправился в Нью-Мексико.

Не один лишь дух прирождённого первопроходца побуждал Джона Чизума продвигаться всё дальше на запад. Его влекла надежда найти рынки сбыта. На севере рынков не было. От Кончо прямо на север, до меховых факторий Компании Гудзонова залива в Канаде, тянулась сплошная полоса дикой страны без городов и поселенцев, населённой индейцами и служившей пастбищем только бизонам и антилопам. За восточными границами Техаса рынки существовали в Шривпорте, Литл-Роке и Бакстер-Спрингс. Рынки были и на юге, в техасских портах Мексиканского залива. Но прибыль на этих восточных и южных рынках была невелика, а путь к ним — долог и труден. Как ни странно, лучшие рынки Чизума находились на западе.

В юго-западном углу Соединённых Штатов испанские поселения процветали уже более двухсот пятидесяти лет. Оньяте основал Санта-Фе в 1608 году; город был ровесником Джеймстауна; он уже представлял собой крепкое селение, когда пилигримы высадились у Плимутской скалы. Когда Чизум обратил свой взор к Нью-Мексико, Санта-Фе был главным городом Юго-Запада, разбогатевшим на торговле по Санта-Феской тропе. Население земли, некогда подвластной Его Католическому Величеству королю Испании, значительно увеличилось благодаря массовому притоку американских поселенцев. Санта-Фе, Таос, Лас-Вегас, Эль-Пасо и Альбукерке сулили техасскому скотоводу богатые рынки сбыта. Тусон и Прескотт в Аризоне; Денвер, Пуэбло и Тринидад в Колорадо маячили в золотой дали. Особенно заманчивыми представлялись перспективы выгодных государственных контрактов на поставку говядины в индейские резервации и военные гарнизоны. Форт-Самнер находился в долине Пекоса; Форт-Стэнтон и резервация апачей-мескалеро лежали сразу за её западной окраиной. И вот, подобно Коронадо, искавшему Семь городов Сиболы и легендарную золотую Кивиру, Чизум на своём ковбойском пони последовал за мечтой на запад. Старый кавалерист искал мираж, современный скотопромышленник — рынок. Искания Коронадо были чистым приключением, искания Чизума — чистым делом.

Положение со скотом в Техасе было необычным. Война мятежа лишила штат мужчин. Тысячи тех, кто ушёл сражаться под звёздами и полосами Конфедерации, оставили свои кости на далёких полях сражений. За четыре года войны деловая жизнь почти замерла; многие плантации заросли сорняками, многие ранчо остались без хозяев. Рабов освободили, деньги Конфедерации обесценились. Проигранное дело означало потерянные состояния и почти утраченную надежду. После капитуляции Ли промышленности Техаса пришлось начинать с нуля.

Миллионы голов скота на вольных пастбищах почти ничего не стоили. Их можно было купить по доллару за голову, но покупателей не находилось, потому что не было денег. Телят, родившихся в годы войны, оставляли без тавра. Никто не знал, кому принадлежат эти бесхозные животные. Забрать их не считалось воровством. Тот, кто ставил на них тавро, становился их владельцем. Однако возможность приобретать скот даром вовсе не вызывала всеобщего восторга. Это была игра на будущих ценах. Зачем владеть тысячей бычков, которых нельзя продать? Клеймение бесхозного скота не приобрело широкого размаха, пока цены не подали признаков роста. Лишь сравнительно немногие предусмотрительные люди успели воспользоваться благоприятным случаем и заложили основы своих состояний при помощи лассо и таврильного железа. Наличие рынков сбыта означало бы разницу между нищетой и богатством. Но рынков не было.

Занималась заря нового дня. Первый слабый отблеск перемен начинал проступать на тёмном горизонте. 1367 год был чреват судьбоносными событиями в истории Запада. Эпоха крытых фургонов и старых переселенческих трактов подходила к концу. Приближалась эпоха

железных дорог. С завершением строительства Юнион-Пасифик сквозная транспортная линия соединила два океана. Канзасско-Тихоокеанская железная дорога быстро продвигалась на запад, и Нью-Йорк с Сан-Франциско внезапно сделались соседями. Богатые рынки Востока наконец открылись прериям.

Рынки сбыта! Волшебная сила рынков за одну ночь преобразила всё скотоводческое положение Техаса. Процветание лавиной обрушилось на пастбища. Трагедия обернулась золотым дном. Из штата, бедного скотом, Техас превратился в штат, богатый скотом. Вчерашняя корова за доллар стала сегодняшней коровой за двадцать долларов. Первое стадо двинулось на север, к Абилину. Вскоре сотни тысяч длиннорогих животных устремились к железным дорогам через Ред-Ривер, Индейские территории, Стейкед-Плейнс и Ничейную землю, по тропам длиной в тысячу и две тысячи миль из всех уголков Техаса — с побережья Мексиканского залива, от Рио-Гранде, Нуэсеса, Фрио, Колорадо и Бразоса.

Затем почти на двадцать лет наступила эпоха баснословных прибылей на скотопрогонных тропах. Абилин, Ньютон, Уичито, Колдуэлл, Эллсуорт, Хейс-Сити, Огалалла и Додж-Сити один за другим пережили свой недолгий час кипучей жизни в качестве столиц на концах скотопрогонных путей. Перегоны скота поднимали их на гребень приливной волны славы, богатства и лихорадочной жизни, а прекращаясь, оставляли на мели, в унылой безвестности степных посёлков. Но в недолгие романтические годы своего расцвета они были самыми колоритными, самыми живописными, самыми беззаконными, самыми суровыми городами старого фронтира; салуны, игорные заведения и танцевальные залы гремели; на улицах полыхали выстрелы шестизарядных револьверов; ковбои стреляли по светильникам; каждое утро к завтраку — по покойнику; виски, фаро, женщины, разгул и беспорядки днём и ночью; а где-нибудь в голой прерии непременно находилось кладбище Бут-Хилл, тесно заполненное могилами тех, кто расплатился с музыкантом и ушёл в великую тьму, не сняв сапог.

Джон Чизум не почувствовал приближения великой перемены, которой предстояло превратить техасские пастбища в золотые прииски. Немногим это удалось. Новое процветание нагрянуло как гром среди ясного неба, почти без знаков и предвестий своего приближения. Но, в конце концов, в его движении на запад заключалась здравая мудрость. Приход железных дорог, поднявший цены на скот в Техасе, точно так же поднял их и в Нью-Мексико. Бычок в Лас-Вегасе стоил столько же, сколько бычок в Абилине. От пастбищ на Кончо до рынков Канзаса лежало полторы тысячи миль, а перегон занимал два месяца. В Нью-Мексико рынки были под рукой, а до железнодорожных пунктов отправки скота в Канзасе от Пекоса было не дальше, чем от Кончо.

Когда Джон Чизум обосновался в Нью-Мексико, долина Пекоса была дикой землёй. Апачи-мескалеро, укрывавшиеся в горных твердынях к западу, считали его вторгшиеся стада законной добычей для постоянных грабительских набегов. Мексиканские налётчики часто налетали вихрем через Рио-Гранде и уносились обратно, угоняя его скот и лошадей. Белые скотокрады тоже не бездействовали, и в конечном счёте его стада терпели от их набегов более серьёзные потери, чем от мексиканцев и индейцев. Первый крупный государственный контракт предусматривал поставку десяти тысяч голов убойного скота в Форт-Самнер, где почти десять тысяч индейцев содержались на попечении правительства. Пока это количество животных откармливалось на пастбищах Боске-Гранде, более половины из них украли, и для выполнения контракта ему пришлось пригнать ещё одно стадо из Техаса. Он получил ещё один заказ от Форт-Стэнтона на тысячу сто бычков. Он купил этот скот в Трикхэме, штат Техас, по восемнадцать долларов золотом за голову, а за поставку в военный форт должен был получить по тридцать пять долларов за голову. Здесь открывалась перспектива солидной прибыли. Но во время перегона через горы Гуадалупе на него напали апачи и угнали всё стадо. Чизум прибыл в Форт-Стэнтон с шестью бычками. Ему повезло больше, когда мексиканские разбойники собрали тысячу двести его лошадей и направились со своей добычей обратно к Рио-Гранде.

Чизум и четверо его людей отправились по их следу и, настигнув грабителей у переправы Хорсхед через Пекос, убили троих и отбили табун. Так шла жизнь на этой обширной и беззаконной пограничной земле.

Но Чизум наконец нашёл свои рынки. Он с размахом воспользовался новыми возможностями. С годами его дело разрослось до гигантских размеров. Он расширил радиус сбыта до самых дальних краёв карты Юго-Запада, прихватив заодно Колорадо и Канзас. В течение двух лет, на вершине своего процветания, он перегнал пять тысяч голов скота в Тусон, шесть тысяч в резервацию апачей Сан-Карлос в Аризоне, четыре тысячи к реке Хила и шесть тысяч в Додж-Сити. Не проходило ни одного сезона, чтобы одновременно три или четыре его стада не направлялись к разным рынкам. Несмотря на огромные масштабы его операций и столь же огромные кражи, численность его скота ежегодно возрастала. В 1876 году под его тавром родилось пятнадцать тысяч телят, и из Техаса постоянно поступали новые партии скота.

В 1873 году Чизум оставил Боске-Гранде как свою главную резиденцию и, перебравшись на сорок миль вниз по Пекосу, основал ранчо Саут-Спринг, остававшееся его домом до конца жизни. Там, где река Саут-Спринг вырывается из земли неиссякающим гигантским родником с кристально чистой водой, он построил жилище, достойное скотоводческого короля, и превратил его в одну из достопримечательностей Юго-Запада. Тополя, доставленные из Лас-Вегаса караваном вьючных мулов, он посадил вокруг своего жилища и двумя извилистыми рядами, образовавшими величественную аллею длиной в четверть мили от дороги до дома. Он засеял люцерной восемьсот акров. Он привёз из Арканзаса плодовые деревья и разбил обширные сады с яблонями, грушами, персиками и сливами. Он выписал из Техаса розы, чтобы устроить вокруг дома живую изгородь, а из Теннесси — алых танагр и виргинских перепелов — птиц, неизвестных Нью-Мексико, — и выпустил их на волю в созданном им прекрасном оазисе.

Здесь Чизум с королевской щедростью оказывал гостеприимство по обычаям фронтира. Его большой, раскинувшийся вширь одноэтажный саманный дом с верандами спереди и сзади стоял у дороги между Техасом и Нью-Мексико, и любой незнакомец наравне с приглашённым гостем мог пользоваться кровом и столом сколько пожелает, причём ни денег, ни объяснений от него не требовали. Каждый день к завтраку, обеду и ужину в столовой накрывали стол на двадцать шесть гостей — по двенадцать с каждой стороны и по одному во главе и в конце стола, — и едва ли за десять лет нашлась хоть одна трапеза, когда все места не были бы заняты.

Из Техаса приехали его братья Питцер, Джеймс и Джефф Чизумы, чтобы помогать ему в делах. Приехала также его племянница, мисс Салли Чизум, дочь Джеймса Чизума, столь хорошенькая девушка, что любому из лихих всадников долины Пекоса могла вскружить голову, — ей предстояло долгие годы царить в его доме в качестве хозяйки.

Мисс Салли Чизум, впоследствии миссис Робертс, ещё жила в Розуэлле в 1924 году — милая, добродушная старушка, хранившая тысячу воспоминаний о днях фронтира.

«Когда в 1875 году я приехала из Техаса на Пекос, — рассказывала миссис Робертс, — я путешествовала с небольшим караваном повозок. Апачи-мескалеро покинули свою резервацию, убивали поселенцев и грабили ранчо. „Смотри, не лишись скальпа“, — со смехом предостерегали меня друзья, когда я уезжала из дома. Однажды под вечер, когда мы приближались к переправе Хорсхед через Пекос, на вершине холма показался отряд апачей. Они долго сидели на своих пони совершенно неподвижно, наблюдая за нами, и их силуэты резко выделялись на фоне красок западного неба, словно группа изваяний.

«Среди наших спутников были старые бойцы, воевавшие с индейцами, и они поспешно поставили повозки кольцом, выпрягли упряжных животных и загнали их внутрь ограждения. В ту ночь никто не спал. Женщины жались друг к другу в повозках; мужчины лежали на земле между колёсами, держа винтовки наготове и неся караул. Где-то во тьме завыл койот, заставив нас вздрогнуть; на мгновение мы приняли его вой за боевой клич индейца. Но нападения не последовало.

«На следующее утро из облака пыли к нам с громким топотом понеслась дюжина всадников. „Индейцы!“ — крикнул кто-то. Наши мужчины взвели курки ружей. Я подумала, что пробил мой последний час, и сочла себя погибшей. Но мнимые краснокожие оказались группой ковбоев, которых дядя Джон Чизум послал встретить нас и благополучно проводить до ранчо Саут-Спринг. Была ли я счастлива? Мне хотелось расцеловать каждого из этих загорелых молодых людей, когда они, смеясь, подъехали к нам и взяли нас под свою защиту.

«Больше индейцев мы не встречали, но в первую же мою ночь в Саут-Спринг они подкрались к ранчо и угнали всех лошадей и мулов, какие там были. Они проделали это словно по волшебству; должно быть, их колдовская сила была велика. Они пришли и ушли беззвучно, как призраки. Ни одна собака не залаяла; ни одна душа в доме не проснулась от мирных сновидений. Мы ничего не знали о набеге, пока утром не увидели пустые загоны и повсюду следы мокасин. К тому времени индейцы с угнанным скотом успели уйти на многие мили по дороге к горам. Вот какое приветствие ждало меня в Нью-Мексико.

«Мой дядя Джон Чизум был одним из лучших людей, когда-либо живших на свете, человеком с большим сердцем и щедрой душой. Разговаривал он мало. Говорил, что у него нет времени. Но молчал он приветливо; большую часть времени на его лице играла добрая улыбка. Не то чтобы он не умел говорить. Когда возникала необходимость высказать своё мнение, он выражал его ясно и решительно. Тремя словами он мог сказать больше, чем большинство людей тремя сотнями.

«Он был простым, неприхотливым человеком, из тех, кто довольствуется беконом и фасолью фрихолес. Никаких излишеств. Он жил просто; что годилось для другого, годилось и для него. У него была хорошая одежда для того, что он называл „торжественными случаями“, но мы с ним расходились во мнениях относительно того, какие обстоятельства следует считать „торжественным случаем“, и он редко её надевал. Мягкая серая широкополая шляпа, прямо сидевшая на голове, синяя фланелевая рубашка, иногда жилет и брюки, заправленные в сапоги, составляли его обычный наряд. По одежде его почти невозможно было отличить от рядового ковбоя. Зато к обуви он относился придирчиво, и его сапоги на высоких каблуках шили из самой мягкой и лучшей кожи, какую только можно было купить за деньги.

«Хотя за всю жизнь он ни разу не участвовал в драке, это был храбрый человек. В те дни почти каждый носил шестизарядный револьвер; оружие считалось такой же обычной частью костюма, как рубашка или шляпа; средний мужчина без него чувствовал бы себя неодетым. Но на протяжении всей своей жизни, проведённой на фронтире среди людей, привыкших хвататься за оружие при малейшем поводе, дядя Джон Чизум никогда не носил оружия. Он в одиночку и без оружия разъезжал по всему Юго-Западу, а в те беззаконные времена для этого требовалось настоящее мужество.

«Дядя Джон Чизум был известен ничуть не больше, чем его знаменитое тавро „Длинная полоса и Джингл-Боб“. Ни одно другое тавро в истории не украшало одновременно столько коров. Когда-то им было отмечено сто тысяч голов скота, принадлежавших ему. Теперь оно исчезло с пастбищ; лишь немногие старожилы помнят, как оно выглядело. Для тех, кто никогда его не видел, это загадка. Что такое „Длинная полоса“, догадаться нетрудно. Это была просто длинная черта на боку коровы, тянувшаяся почти от передней до задней части туловища. Но что же такое „Джингл-Боб“? Несмотря на своё бессмысленно звучащее название, это была одна из самых остроумных меток для скота, какие когда-либо изобретали. Многие люди и сегодня, в том числе некоторые скотоводы, представляют её себе как надрез ножом на подгрудке. Но на самом деле её делали глубоким надрезом на обоих ушах, так что одна часть уха свисала вниз, а другая сохраняла своё естественное стоячее положение. Не всякий ковбой умел правильно надрезать уши. При неумелой работе обе половины рассечённого уха либо оставались торчать вверх, либо обе повисали вниз. Чтобы надрезать ухо так, чтобы одна половина свисала, а другая

стояла прямо, требовалось немалое мастерство. Дядя Джон доверял эту работу лишь немногим испытанным ковбоям, искусным в изготовлении „Джингл-Боба“.

«По „Длинной полосе“ было легко узнавать скот Чизума, если животные попадались поодиночке или небольшими группами. Это тавро можно было разобрать за милю. Но именно при опознании животных в большом стаде „Джингл-Боб“ доказывал своё право считаться произведением высокого искусства. Например, после панического бегства стада. Ночные паники на скотопрогонных тропах случались часто. Их мог вызвать любой необычный звук — раскат грома, ружейный выстрел, волчий вой или топот скачущей лошади. Стоило этим полудиким, безрассудным животным поддаться страху, как они, спотыкаясь и грохоча копытами, устремлялись прочь в темноту. Иногда, хотя и редко, ковбоям удавалось повернуть их, заставить кружиться на месте и таким образом остановить. Но обычно животные бежали, пока не выбивались из сил, и не одно такое паническое бегство уносило обезумевшее стадо на двадцать или тридцать миль от места ночёвки.

«Нередко обезумевшее стадо врезалось в другое стадо и обращало в бегство и его, а на следующий день, когда оба стада успокаивались, разделить скот становилось большой работой, иногда растягивавшейся на несколько дней. Ковбои не могли разглядеть тавра на туловищах своих коров, затерявшихся среди нескольких тысяч чужих животных. Им приходилось въезжать в стадо верхом и с трудом пробираться между животными, отыскивая собственные клейма. Но где бы ни находился бычок с меткой „Джингл-Боб“ — в самом центре стада или у дальнего края, за тысячей спин, — спутать его было невозможно. Ему достаточно было показать голову, чтобы его тотчас опознали.

«Могу сказать, что, увидев однажды „Джингл-Боб“, вы уже никогда его не забывали. Он самым странным образом преображал коровью красоту. Поджарый, длинноногий бычок старой пастбищной породы, с нелепо длинными рогами, с полупугливой, полузадиристой и совершенно тупой физиономией, и без того был диковинным созданием; но „Джингл-Боб“, словно венчавший его чудовищную голову четырьмя ушами, двумя торчащими вверх и двумя болтающимися книзу, добавлял последний нелепый штрих и делал его похожим на самого дьявола.

«О ранчо Саут-Спринг у меня остались только счастливые воспоминания. Мой дядя Джон так никогда и не женился — на это он тоже был слишком занят, — и хозяйкой дома была я. Каждый день с утра до вечера я была занята домашними делами и распоряжалась прислугой. Во время весенних и осенних сборов скота, когда ковбои возвращались с пастбищ, мне приходилось всё время быть на ногах. Дом постоянно был полон людей; ранчо представляло собой целый маленький мир; я не смогла бы почувствовать одиночество, даже если бы захотела.

«Каждый человек на Юго-Западе, с которым стоило познакомиться, и многие, с кем знакомиться не стоило, рано или поздно бывали гостями под гостеприимной крышей дяди Джона. Я встречала их всех — губернаторов, законодателей, дельцов, армейских офицеров, игроков, грабителей, убийц — и относилась ко всем одинаково. Кто они были, на приём, оказываемый им, не влияло. Иногда человек прискакивал во весь опор, наспех ел и так же поспешно уезжал. Отряд помощников шерифа, появлявшийся следом немного погодя, объяснял причину его спешки. Продолжительность пребывания гостя иной раз зависела от того, насколько далеко он успел уйти от шерифа.

«Билли Кид часто приезжал к нам и иногда оставался на неделю или две. Зная его репутацию дурного человека и убийцы, я помню, как испугалась, когда он приехал впервые. Я сидела в гостиной, когда мне сообщили, что прибыл этот знаменитый отчаянный преступник. Меня охватила паника. Я представляла его во всей зловещей уродливости кровожадного людоеда. Я почти не сомневалась, что он перережет мне горло, если ему не понравится моя внешность.

«Сердце у меня подступило к горлу, когда я услышала его шаги на крыльце и поняла, что дядя Джон вводит его в дом. Как сквозь сон, я услышала, как дядя Джон, взмахнув рукой, произнёс: „Салли, это мой друг, Билли Кид“. Передо мной стоял миловидный юноша с ясными

глазами, держа шляпу в руке и улыбаясь мне. Я машинально протянула ему руку, и он пожал её своей рукой, такой же маленькой, как моя.

«„Здравствуйте, мисс Чизум, рад с вами познакомиться“, — сказал он с почтительным поклоном, воспользовавшись оборотом, который был обязательным правилом хорошего тона на фронтире.

«„Так вы Билли Кид?“ — выдохнула я.

«„Так меня называют“, — протянул он мягким голосом.

«Я опустилась на диван и хохотала, пока из глаз у меня не потекли слёзы. Должно быть, он принял меня за сумасшедшую, но и сам рассмеялся.

«„Ну что ж, — сказала я, когда снова смогла говорить, — разумеется, я должна вам кое-что объяснить и принести извинения. Но, видите ли, я… я не ожидала увидеть вас таким“.

«„Да, — добродушно ответил он, — я понимаю“.

«И мы оба снова расхохотались.

«Мы с Билли Кидом стали большими друзьями. Он, несомненно, был дурным человеком, но столь же несомненно, что не во всём был дурен. У него было немало достойных восхищения качеств. Если он был врагом, то был врагом, но если был другом, то был другом. Его переполняли беззаботное веселье и добродушие. Что касалось одежды, он всегда выглядел так, словно его только что вынули из шляпной коробки. В белой широкополой шляпе, тёмных пиджаке и жилете, серых брюках навыпуск поверх сапог, серой фланелевой рубашке и чёрном галстуке, завязанном простым узлом, а иной раз — поверите ли? — ещё и с цветком в петлице, он представлял собой лихую фигуру и был настоящим щёголем. Полагаю, говорить о подобном человеке как о джентльмене покажется нелепым, но с самого начала и до конца нашей долгой дружбы во всех личных отношениях со мной он был воплощением учтивости и таким обходительным маленьким джентльменом, какого мне только доводилось встречать.

«Сколько раз мы с Билли Кидом скакали верхом по окрестностям и сколько приятных вечеров проводили, часами беседуя на передней галерее дома. Под домом, пересекая угол кухни, протекал ручей, полный рыбы, и я часто сидела на заднем крыльце в кресле-качалке, а Билли насаживал мне наживку на крючок, и я вылавливала к обеду целую связку окуней.

«Когда дядя Джон сажал свои тополя, он и его братья, Питцер и Джеймс, посадили три молодых деревца близко друг к другу и, согнув их стволы внутрь, связали их вместе. Со временем три дерева срослись в одно, и оно стоит там по сей день, высоченный исполин, опирающийся внизу на широкие тройные арки, образованные тремя первоначальными стволами. Я помню, как тронут был Билли, когда я впервые показала ему „Дерево трёх братьев“ и рассказала, что оно должно было олицетворять любовь этих троих друг к другу, как и говорил дядя Джон, когда сажали деревца. Ведь он был ещё мальчиком, знаете ли, и глубоко в его маленьком ожесточённом сердце, должно быть, сохранилась капля нежности; и, быть может, думая о любви и ласке, которых была лишена его собственная жизнь, он выглядел таким тоскливым и несчастным, что я почувствовала необходимость его развеселить. „Не надо плакать“, — сказала я своему чувствительному головорезу.

«Шериф Пэт Гарретт был ещё одним частым гостем на ранчо. Человек необычайно высокого роста, но вовсе не нескладный и не неловкий; напротив, двигался он с какой-то покачивающейся грацией, в которой чувствовались сила и уверенность. Несмотря на кривоватый рот и кривоватую улыбку, от которых всё его лицо казалось перекошенным, это был на редкость красивый мужчина. Казалось, из его спокойных серых глаз на вас смотрел невозмутимый, уравновешенный дух. Поэзии в Гарретте было совсем мало — лиричности в нём было примерно столько же, сколько в одном из его шестизарядных револьверов, — и всё же лицо старого бойца приграничья чем-то смутно напоминало лицо Эдгара Аллана По. Он выглядел меланхоличным и трагическим, но умел быть приветливым и общительным, а когда его душу согревал крепкий старомодный тодди, он становился душой компании, которая имела обык-

новение собираться по вечерам на крыльце. Он был живописным рассказчиком; жизнь охотника на бизонов, шерифа, бойца и преследователя преступников дала ему богатый запас занимательных историй, и большинство его рассказов опиралось на собственный опыт.

«Ему были свойственны непринуждённость и товарищеская сердечность южанина, и подружиться с ним было легко. Но у него было много врагов, которые ненавидели его всей душой; и это было нетрудно понять, поскольку, за что бы он ни взялся, он доводил дело до конца „хоть сквозь ад и потоп“, как любил говорить сам, и если при этом один-другой человек получал рану или погибал, ему это было совершенно безразлично.

«После того как его избрали шерифом округа Линкольн и он порвал тесную дружбу с Билли Кидом, сделавшись его непримиримым врагом, я слышала, как люди предлагали держать пари, что, если эти двое когда-нибудь встретятся, Билли его убьёт. Все считали Билли более опасным человеком, стрелявшим быстрее и вернее. Несомненно, так оно и было. Но в действительности исход ожесточённой вражды между этими двумя — преступником и шерифом — определился не сравнительными боевыми качествами противников, а удачей или, как сказали бы иные, судьбой. Гарретт убил Кида не потому, что был лучшим бойцом, а потому, что Киду пришло время умереть. Много лет спустя, когда настал черёд Гарретта, ветерана многих схваток убил человек, которого как бойца можно было бы причислить к любителям. Гарретт и Кид были находчивыми. Отчаянными бойцами. Но когда пробил их час, они были так же беспомощны, как младенцы, и не могли ни спастись, ни защитить себя.

«Я близко знала обоих этих людей, и каждый из них по-своему вошёл в историю. В Билли Киде добро перемешивалось со злом, а в Пэте Гарретте зло — с добром. Оба были людьми до мозга костей, оба — замечательными личностями. Что бы они ни делали на свете и что бы о них ни думал свет, они были моими друзьями. Оба были настоящими мужчинами. С обоими стоило познакомиться».

Джон Чизум умер в Юрика-Спрингс, штат Миссури, в 1884 году и похоронен в Парисе, штат Техас, где прошло его детство, а памятником ему служит основанный им город. История уделила ему совсем мало внимания. В печатных хрониках его имя попадается здесь и там, но биографических подробностей до удивления мало. Он остаётся смутной фигурой, которую время от времени освещает лишь какой-нибудь эпизод, словно горную вершину, на миг озарённую солнечным лучом, пробившимся сквозь туман. До сих пор сохранился дагеротипический портрет старого скотоводческого короля, который верхом на ковбойском пони, в одной рубашке, пришёл к богатству и власти. На нём видно доброе, простое, честное лицо с живыми, проницательными глазами, а в квадратном подбородке и очертании широкого рта угадываются сила и решительность. Трудно назвать этот портрет внушительным. Но было бы несправедливо не причислить Джона Чизума к великим первопроходцам и пионерам Юго-Запада. С начала и до конца он был созидательной силой — строителем. Быть может, не архитектором цивилизации, но работником, который в поте лица закладывал те краеугольные камни, на которых поднялись цивилизация, закон и порядок.

Годы преобразили нижнюю долину Пекоса. К северу, в пределах видимости от ранчо Саут-Спринг, ныне стоит Розуэлл — главный город восточного Нью-Мексико с десятью тысячами жителей, асфальтированными улицами, внушительными деловыми зданиями и прекрасными домами, утопающими в зелени деревьев. Когда-то засушливые равнины теперь цветут, словно розы. Артезианская вода из неисчерпаемого подземного водоёма бьёт из тысячи скважин, орошая поля и сады. Вдоль пути, по которому стада Чизума гнали на рынок, теперь проходит железная дорога.

Ранчо Саут-Спринг перешло во владение Х. Дж. Хагермана, бывшего губернатора Нью-Мексико, построившего железную дорогу, и до сих пор принадлежит его семье. От гладкого макадамового шоссе к величественному кирпичному особняку Хагерманов ведёт широкая, поистине королевская аллея, над которой гигантские тополя со стволами в пять футов диа-

метром сплетают свои ветви. Это те самые саженцы, которые Джон Чизум привёз из Лас-Вегаса на мулах в составе каравана. Там, где длиннорогий скот Чизума некогда щипал бизонью траву, теперь на люцерновых пастбищах пасутся стада чистокровных герефордов. Большие сады, посаженные Чизумом, ныне старые и узловатые, по-прежнему расцветают в положенное время года и гнутся под тяжестью яблок, персиков и груш. Живая изгородь из роз, посаженная Чизумом, доносит до наших дней благоуханное предание о прежних временах. Алые потомки птиц, привезённых Чизумом из Теннесси, танагры, перелетают с дерева на куст, как стрелы живого пламени, а виргинские перепела полагают воспоминания о старом скотоводческом короле на музыку, и их звонкие переливчатые крики разносятся по всей долине.

В укромном уголке под высокими тополями, неподалёку от конюшен, стоит разрушающийся остаток старой стены из саманного кирпича. Это всё, что сохранилось от прежнего дома Джона Чизума, некогда обители уюта, доброго веселья и поистине царского гостеприимства, места встреч всего Юго-Запада. Эта старая разрушенная стена — сама трагедия. Прошлое бьётся о неё, словно смутная волна. Она стоит, подобно памятнику, на страже умерших лет. За ней обитают призраки. Шум ветра в тополях над ней подобен погребальному плачу. Она словно скорбная песнь, отягощённая печалью воспоминаний. Те дни миновали.

ГЛАВА II

ВЛАСТЕЛИН ГОР

С ранчо Саут-Спринг в ясную погоду за голыми холмистыми равнинами, в ста милях к западу по прямой, можно увидеть пурпурную вершину Эль-Капитана, поднимающуюся над горизонтом. Почти в тени этой горы набирала мощь новая сила, готовая бросить вызов господству Чизума, — сила дерзкая, зловещая и хищная. Было неизбежно, что рано или поздно Король долины и Властелин гор столкнутся друг с другом. Они были соперниками в делах; их владения граничили друг с другом; собственная выгода порождала зависть и ненависть. Так начали сгущаться тучи войны; поначалу не больше человеческой ладони, с годами они всё темнели и угрожающе разрастались, пока наконец не разразились громовыми раскатами войны в округе Линкольн, самой кровавой вендетты в истории Юго-Запада.

Примерно в то время, когда Чизум обосновался в долине Пекоса, майор Л. Г. Мёрфи, прибывший в Нью-Мексико с Калифорнийской колонной во время Гражданской войны, был уволен из армии Соединённых Штатов в форте Стэнтон, старом военном посту, существовавшем с 1854 года и расположенном в девяти милях от Линкольна. Несколько лет он совместно с полковником Эмилем Фрицем, уволенным со службы одновременно с ним, держал маркитантскую лавку при форте. Он продал свою долю в этом предприятии по предложению коменданта, майора Гленденнинга, который высказал неодобрение его способам вести дела.

Но Мёрфи уже успел оценить торговые возможности густонаселённого горного края, со всех сторон отделённого от остальных поселений Нью-Мексико полузасушливыми равнинами, и перебрался в Линкольн, где открыл другую лавку, взяв в компаньоны Джона Райли и Джеймса Долана. Со временем он обзавёлся и другими деловыми интересами — скотоводческим ранчо, мукомольной мельницей, гостиницей, салуном — и занялся политикой. За несколько лет он стал самым богатым человеком в горах и политической силой, с которой приходилось считаться в округе Линкольн.

Мёрфи готовили к священническому сану, но в последний момент он вместо Церкви выбрал армию. Он обладал известной учёностью, придававшей ему вес в глазах сурового пограничья. В его характере сочетались священническая изощрённость и солдатская отвага. Обладая склонностью к интригам и заговорам, которая могла бы прославить его при дворе какого-нибудь средневекового монарха, этот Макиавелли пограничья был искусным дипломатом и никогда не бывал столь любезен и обходителен, как тогда, когда замышлял погубить врага. Но какими бы ни были его побуждения и замыслы, они скрывались за холодным, непроницаемым лицом. Проницательный, хитрый и скрытный, он оставался в тени собственных махина-

ций, предоставляя другим осуществлять его планы. Противники называли его вероломным, беспринципным и бессердечным, но, был ли он в действительности так чёрен, как его изображали, нет оснований сомневаться, что он был одним из самых опасных людей, какие когда-либо скрывали зловещий замысел за улыбкой.

Его компаньоны были его марионетками. Он был мозгом, они — орудиями. Райли был пронырливым, злобным маленьким интриганом, действовавшим исподтишка и обладавшим даром подкапываться, вынюхивать и выведывать тайны. Долан был горячей головой и отчаянным забиякой. В слаженности совместной работы этого триумвирата нельзя было найти изъяна. Мёрфи был главнокомандующим, Райли — шпионом и разведчиком, Долан — бойцом.

Судьба выплетает странные узоры. Когда в 1875 году процветание Мёрфи достигло высшей точки, Александр А. Максуин и его молодая жена, миссис Сьюзен Хаммер Максуин, отправились сухопутным путём в Нью-Мексико из своего дома в Атчисоне, штат Канзас. Максуин родился в Шарлоттауне на острове Принца Эдуарда и получил образование, готовившее его к служению пресвитерианским пастором. Когда перед ним уже открылась возможность занять кафедру проповедника, он решил избрать юридическую профессию, переехал в Канзас, окончил юридический факультет Вашингтонского университета, тогда известного учебного заведения в Сент-Луисе, впервые вывесил свою адвокатскую вывеску в Юрике, штат Канзас, а позднее вёл практику в Атчисоне. Миссис Максуин родилась в Геттисберге, штат Пенсильвания, где её предки, первые колонисты, поселились в 1731 году, и возводила свою родословную к Шпанглерам, известным воинской славой при дворе Фридриха Барбароссы и во времена Крестовых походов.

Максуины поженились в Атчисоне. Поскольку здоровье Максуина было не слишком крепким, они решили переселиться в Нью-Мексико, где под вечным солнцем и на сухом, чистом воздухе он рассчитывал восстановить силы и устроить свою адвокатскую практику. Предварительно они наметили местом назначения Санта-Фе; однако собирались после приезда осмотреться и поселиться в том развивающемся городе, который, по их мнению, сулил наиболее многообещающие возможности честолюбивому молодому адвокату.

Их путешествие на запад было свадебной поездкой, и, пока они неторопливо двигались по дороге Санта-Фе, этот древний путь романтики и приключений казался молодым странникам-молодожёнам дорогой грёз, несомненно ведущей к счастью и богатству. Возможно, всё так и случилось бы, если бы не их случайная встреча с сеньором Мигелем Отеро в Пунта-де-Агуа, некогда знаменитом ориентире на старом грузовом тракте, неподалёку от Лас-Вегаса.

Отеро, происходивший из знатной семьи, был депутатом законодательного собрания территории и знал едва ли не каждого жителя Нью-Мексико. Он направлялся на восток, и его стоянка у Пунта-де-Агуа находилась недалеко от лагеря Максуинов. Когда после ужина у костра он курил сигарету, в холмах завёл свою серенаду койот.

«Этот малый, — крикнул Отеро Максуинам, — воет так, словно их целая дюжина».

Что ж, так оно и было. Максуины рассмеялись. А Отеро направился к их костру, чтобы запросто заглянуть к соседям. Когда он вошёл в круг света, Максуины увидели щеголеватого молодого испанца, лучившегося дружелюбием. «Я сеньор Отеро», — сказал он. Вернее было бы ему сказать: «Я — Судьба». Если бы койот в холмах промолчал той ночью, одна из глав истории Нью-Мексико, написанная кровью, могла бы вообще остаться ненаписанной.

Итак, сеньор Максуин был молодым адвокатом, подыскивавшим хороший город, где можно поселиться и создать процветающую практику. Прекрасно, сеньор Отеро знал как раз такое место. Линкольн. Максуины даже не знали, что на карте существует такой город. Но сеньор Отеро не удивился бы, если бы однажды тот стал крупным центром. Он находился посреди замечательного края. Рос. Становился всё значительнее.

Но, несомненно, сеньор Максуин и его очаровательная жена слышали о сеньоре Мёрфи. Нет? Никогда не слышали о сеньоре Мёрфи? Поразительно странно. Сеньор Отеро ахнул

от изумления, обнаружив на свете двух человек, никогда не слышавших о сеньоре Мёрфи. Великий человек, богатый, могущественный, которому суждено совершить удивительные дела. Если сеньор Максуин пожелает отправиться в Линкольн, сеньор Отеро с радостью даст ему рекомендательное письмо к своему дорогому другу, сеньору Мёрфи. Что ж, в конце концов это, пожалуй, была неплохая мысль. Итак, письмо было написано при свете костра. На следующее утро Максуины отправились в Линкольн.

Этот маленький случай кажется до нелепости ничтожным. Ни причины, ни смысла в нём не было; он возник из ничего; просто произошёл. И всё же это загадка сфинкса, столь же необъяснимая, как жизнь, или сила тяготения, или движение звёзд. Почему он произошёл? Почему он вообще должен был произойти? Какие боги задремали у стрелки? Был ли койот каким-то демоном тьмы? Не был ли Отеро Мефистофелем под личиной другого человека? Не обрушила ли какое-нибудь проклятие ведьма, летевшая на метле на фоне луны? Письмо, написанное из простой вежливости незнакомцем, случайно встретившимся им на пути, к человеку, о котором они никогда не слышали, в городе, о существовании которого и не подозревали, изменило весь ход жизни Максуинов, увело их прочь от счастья, которое, по-видимому, было их законным уделом, и втянуло в странное переплетение трагедий, которых они, по-видимому, не заслуживали. Судьба поманила их согнутым пальцем из гор Капитан, и они без колебаний, слепо и беззаботно последовали её зову.

Приезд Максуинов в Линкольн стал событием. Хорошо воспитанные, хорошо одетые и образованные, супруги внесли новую ноту в жизнь селения. Учёность Максуина дала сплетникам пищу для разговоров, а когда хорошенькая миссис Максуин распаковала сундуки и вышла на улицу в платьях по последней моде Канзас-Сити и Сент-Луиса, она вызвала переполох среди жён и дочерей горожан, которым никогда ещё не доводилось любоваться нарядами столь изящными и элегантными. Мёрфи принял супругов с большим радушием. Вскоре Максуин удобно устроился в недавно построенном доме — просторном одноэтажном здании из саманного кирпича, как было принято в этих местах, — и при необычайно благоприятных обстоятельствах приступил к адвокатской практике, причём фирма Мёрфи стала его самым доходным клиентом. Покровительство столь важной особы, как Мёрфи, сразу придало молодому адвокату вес; жители пограничья с немалым энтузиазмом увлекались судебными тяжбами, хотя и не слишком почитали закон, и практика Максуина разрасталась с поразительной быстротой.

Чтобы дополнить уют своего приятного и гостеприимного дома последней необходимой деталью, миссис Максуин, искусная музыкантша, заказала доставить из Сент-Луиса пианино, и объявление о скором прибытии инструмента стало самой волнующей новостью в Линкольне с тех пор, как братья Хоррелл устроили в городе стрельбу. Отдалённая горная деревушка имела лишь смутное представление о пианино, почерпнутое главным образом из картинок в редко попадавшихся газетах и из рассказов тех немногих местных жителей, кому довелось совершить большое путешествие в Санта-Фе. Скрипки, гитары, банджо, аккордеоны, губные гармоники и жестяные свистульки здесь знали, но пианино — нет. Никогда прежде в Линкольне не было пианино, да, вероятно, в ту пору ни одного не имелось и на всём огромном пространстве между Лас-Вегасом и равниной Льяно-Эстакадо.

Путь первого линкольнского пианино из Сент-Луиса длиною в полторы тысячи миль не обошёлся без любопытных приключений. В Нью-Мексико не было ни единой мили железной дороги. Дорога «Санта-Фе» доходила на западе лишь до Тринидада в южном Колорадо и раньше 1878 года не должна была протянуться южнее гор Ратон. Из Сент-Луиса до Тринидада пианино добиралось поездом. Из Тринидада до Линкольна его с почестями везли на повозке, запряжённой четвёркой лошадей. Едва оно преодолело трудный перевал Ратон и повернуло на юго-восток, к горам Капитан, как его продвижение стало делом общественной важности. Весть о его приближении бежала впереди него; маленькие мексиканские городки по дороге выходили встречать его, словно приехал цирк, и в благоговейном молчании смотрели, как оно

проезжает. Для Линкольна настало одно из великих исторических мгновений, когда четвёрка лошадей с драгоценным грузом, покачиваясь на ходу, въехала в город между рядами людей, точно в римском триумфальном шествии, и подала повозку задом к дверям Максуинов.

Линкольн принял своё первое пианино всем сердцем. Этот инструмент стал достижением всего города, придавшим поселению некоторый столичный лоск. Селение гордо расправило плечи и принялось хвастаться своим превосходством над соседними городками. Лас-Крусес, Севен-Риверс, Форт-Самнер были, конечно, недурными городками, но — тут Линкольн самодовольно пожимал плечами — пианино у них не было. И, чтобы придать основания представлению Линкольна о пианино как о своей общей собственности, весь город разделял наслаждение его мелодиями. Когда миссис Максуин пробегала пальцами по клавишам, музыку слышали едва ли не в каждом доме селения — от лавки Мёрфи на одном конце до лавки Хуана Патрона на другом. Мексиканские мальчишки плясали под неё на улице; работники на пойменных сенокосах вдоль Бонито взмахивали косами в её ритме; из-за неё всё селение принялось напевать, петь и насвистывать. Линкольн стал отсчитывать даты своих менее значительных событий от того красного дня календаря, когда прибыло пианино. Если какая-нибудь хозяйка, строго покачивая головой, заявляла, что её петух породы доминик вылупился через два дня после того, как в Линкольн доставили пианино Максуинов, всякие споры о возрасте этой птицы прекращались.

Для пограничья Максуин был до странности неподходящим человеком. Человек высокой культуры и способный адвокат, он был мечтателем, жившим среди идеалов и грёз. Он был религиозен по самой своей природе и совершенно искренне. Среди азартных игроков, сквернословов и драчунов пограничья он был островком христианской добродетели, со всех сторон окружённым бушующим пороком.

Религия была для него не бережно хранимым костюмом, который надевают на воскресную службу, а всё остальное время держат в шкафу; он жил ею каждый час каждого дня. Для него это была не духовная абстракция, а нечто столь же реальное, как солнечный свет. «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» было для него не просто стихом из Библии, но золотым правилом повседневного поведения. Нагорная проповедь была для него не только Евангелием, но и законом, столь же обязательным, как если бы она была напечатана в одном из переплетённых в телячью кожу сводов законов на полках его библиотеки.

Его идеалом был идеал Христа, и он честно старался ему следовать. Он по-детски верил в изначальную доброту человечества. Поскольку в нём самом не было зла, он не подозревал его и в других. Сам руководствуясь чистыми побуждениями, он не мог представить, до каких крайностей способны дойти страсть и ненависть. «Убийство» было для него словом из словаря, но в глубине души он не имел подлинного представления о том, что оно означает. И вот в каком-то прекрасном неведении он проходил через собственную трагическую драму, словно сэр Галахад, спокойно устремивший взор на Святой Грааль.

Недостаток телесной отваги он искупал нравственным мужеством. За то, что считал правильным, он стоял непоколебимо, и ни опасность, ни насилие, ни угроза смерти не могли отклонить его ни на волос вправо или влево. Беда заключалась в том, что в юности он не стал священнослужителем. Из него вышел бы идеальный пастор какой-нибудь маленькой церкви в тихой сельской местности, а защищённый от невзгод пасторский дом, где его окружали бы родные и друзья, стал бы естественной средой для его духовной жизни. Ему предназначалось уютное кресло и книга в тёплом уголке у весело пылающего очага. То, как сурово-насмешливые обстоятельства исказили его жизненный путь, кажется скорее иронической загадкой судьбы, чем психологической проблемой. Он превратился в пешку в безумной игре, закруженной вихрем. Рождённый для умственного труда и мирного домашнего счастья, не питавший в душе

никакой тяги к приключениям, он оказался вынужден возглавить вооружённую сторону в кровавой междоусобице на буйном и беззаконном пограничье.

Миссис Максуин была человеком совершенно иного склада. Она была доброй христианкой, но вовсе не кроткой и смиренной; скорее воинственной, проникнутой духом старых ковенантеров — пресвитериан тех боевых времён, когда по пограничным болотам рыскали конные налётчики. Когда её муж приобрёл известность как адвокат в Линкольне, ему часто приходилось ездить далеко, в отдалённые городки, чтобы вести дела в суде. Во все такие поездки добрый человек брал в седельные сумки Библию и, как бы тяжело ни далась дневная дорога и как бы ни утомила его дневная работа, никогда не бывал слишком усталым, чтобы перед сном прочесть главу, затем встать на колени и помолиться. Жена всецело одобряла это.

«Но, — убеждала она, — если кладёшь Библию в один карман седельных сумок, носи в другом шестизарядный револьвер. И если кто-нибудь вздумает ударить тебя по правой щеке, не теряй времени, подставляя ему левую, а доставай револьвер и непременно стреляй первым».

«Зачем мне носить револьвер?» — ответил кроткий Максуин. «Я не могу представить себе таких обстоятельств, которые заставили бы меня лишить жизни другого человека».

Если Максуин был идеалистом и мечтателем, его жена отличалась сугубой практичностью. Она ясно видела жизнь благодаря острому взгляду и проницательному уму. В ней было нечто от копья Итуриэля, при прикосновении которого притворство, мошенничество и обман являлись во всей своей неприкрытой сущности. Относительно окружавших её мужчин она не питала никаких иллюзий. Она прожила в Линкольне совсем недолго, когда уже разглядела за видимостью дружелюбия Мёрфи его истинную сущность и поняла, насколько он опасен. В её характере было отчётливо женственное начало, но не менее отчётливо проявлялось бесстрашие. Позднее, в годы вражды, когда подверглось испытанию мужество мужчин и женщин, она не оставалась на заднем плане, безмолвно сидя дома и проливая бесполезные слёзы, но действовала в самой гуще событий, всеми доступными средствами боролась со своими врагами и врагами мужа и держалась с бесстрашием Баярда — «без страха и упрёка». Среди множества отважных женщин, что страдали и несли свой крест с твёрдым сердцем и безропотной стойкостью в годы долгой трагедии войны в округе Линкольн, именно она была выдающейся героиней.

В те дни Линкольн был оживлённым городком. Это был административный центр округа Линкольн, занимавшего пятую часть Нью-Мексико и по площади равнявшегося Пенсильвании, включая территории нынешних округов Линкольн, Чавес, Эдди, Отеро и часть округа Донья-Ана. Он служил главным торговым центром обширной области, простиравшейся на двести миль в каждом направлении, с высокими холмами, земледельческими каньонами, долинами и плоскогорьями, в известной степени отгороженной от внешнего мира сторожевыми хребтами гор Капитан, Хикарилья, Уайт, Сакраменто, Гуадалупе, Орган и Сан-Андрес. Воды этой области стекали на восток в Пекос по рекам Бонито, Руидосо, Ондо, Фелис, Пеньяско и Севен-Риверс — прозрачным потокам, питаемым горными снегами, шумно бегущим по мелям и перекатам, разливающимся в тихие заводи, столь же прекрасным и певучим, как их названия. В Линкольн, живописно расположенный там, где каньон Бонито раскрывается в широкие пойменные луга и пахотные земли, со всей этой области съезжались люди торговать.

Львиная доля всей торговли приходилась на лавку Мёрфи, помещавшуюся в большом двухэтажном здании из саманного кирпича, которое по всей округе знали под названием «Большая лавка» и которое в самом деле было самым значительным заведением такого рода во всём восточном Нью-Мексико. Обозы Мёрфи постоянно находились в пути, доставляя товары и припасы из Лас-Вегаса, Санта-Фе и с конечной железнодорожной станции в Тринидаде, а Линкольн в ту пору процветания был полон людей, приезжавших за многие мили ради покупок и торговли. Гостиница Мёрфи на противоположной стороне дороги от Большой лавки едва

могла вместить всех приезжих, а деньги день и ночь звенели на стойке салуна Мёрфи, который на изнывающем от жажды пограничье был словно тень скалы в иссушённой земле.

С тех пор как городок был основан ещё в пятидесятые годы, жизнь в Линкольне шла под бойкий мотив. Временами на селение обрушивались отряды воинственных апачей. Напоминанием о тех суровых днях до сих пор служит круглая каменная башня с амбразурами и бойницами, из которых первые поселенцы отстреливались от индейцев. Скотоворы, бандиты и беглецы от правосудия находили в маленьком селении, уютно укрытом среди гор, надёжное убежище и место встреч. Сюда забредали игроки. Открывались салуны. За городом постепенно закрепилась репутация обители беззакония. Крутым он был с самого начала.

Братья Хорреллы немало поспособствовали его зловещей славе. Их было пятеро: Бен, Билл, Джек, Том и Боб; уроженцы Техаса, буйная, строптивая и упрямая компания. Однажды вечером они прискакали со стороны Руидосо и ради забавы устроили в селении стрельбу. Жители вступили с ними в спор о достоинствах этой шутки, и, когда дым рассеялся, констебль Мартинес, бывший шериф Гиллам, Дейв Уорнер и Билл Хоррелл были мертвы — причём Билл Хоррелл, можно сказать, пал мучеником за своё чувство юмора. Оскорблённые тем, что горожане не оценили их шутки, оставшиеся братья Хорреллы объявили Линкольну войну. Однажды ночью они явились снова, на сей раз в сопровождении нескольких охочих до драки техасских приятелей, и уже не ради забавы, а ради мести. В саманном доме, который и теперь стоит под сенью церкви Сан-Хуан, как раз шли танцы. Скрипки играли вальс, когда вошедшие Хорреллы дополнили их музыку аккомпанементом шестизарядных револьверов, после которого на танцевальном полу остались лежать бездыханными одна женщина и четверо мужчин, в том числе отец Хуана Патрона. Вскоре после этого братья Хорреллы отвернулись от своей нелепой, но трагической маленькой войны и вернулись домой, в Техас. В Линкольне до сих пор называют эту двухактную кровавую мелодраму, выросшую из шутки, войной Хорреллов.

В Линкольне многие мужчины умирали в сапогах; одни погибали в бою, другие таинственно исчезали, и хоронили их то тут, то там по всему городку. По какой-то причине в Линкольне до недавних лет так и не появилось кладбища. Тайно убитых людей и хоронили тайно; могилы остальных поначалу отмечали маленькими деревянными крестами с именами. Со временем эти кресты рассыпались; никто не ставил новых, потому что никому не было дела; имена покойников исчезали из памяти живых, а могилы их забывались. В Линкольне вам расскажут, будто некий человек во времена своего могущества держал на службе отборных убийц, которые действовали как его Ангелы-истребители, или даниты, и без лишнего шума устраняли всякого из его врагов, кого он обрекал на гибель. Эту историю обычно отвергают как выдумку недоброжелателей, и не осталось ровным счётом никаких доказательств, способных её подтвердить; однако в наиболее определённом своём изложении она оценивает число подобных исчезновений «примерно в двадцать пять»: главным образом это были мексиканцы, которых, как рассказывают, заворачивали в одеяла, бросали в неглубокие ямы и засыпали землёй.

Время от времени кости безымянных покойников, покоящихся в забытых могилах, выворачивает из земли какой-нибудь мексиканец, когда пашет участок или копается в огороде. Такие находки столь многочисленны, что о них почти не говорят. «Хосе Кастро сегодня выпахал череп на своём кукурузном поле». «Хуан Сильва, окучивая лук, выкопал бедренную кость». Хм! Вот и всё. И кажется, что могилы здесь повсюду, хотя места их известны лишь приблизительно.

«Вон там, в углу моего палисадника, похоронен какой-то мужчина», — говорит миссис Лена Морган, хозяйка гостиницы «Бонито-инн», у которой я остановился. «Кто? О, я не имею ни малейшего понятия. Точного места я не знаю. Где-то возле того куста роз. Но это ещё ничего. В саду есть ещё три или четыре могилы».

Сегодня требуется немалое усилие воображения, чтобы представить Линкольн таким оживлённым, многолюдным торговым местом, каким он был пятьдесят лет назад. С оконча-

нием войны в округе Линкольн селение уснуло и с тех пор уже не просыпалось. Оно всё ещё дремлет в своём живописном каньоне, грезя, быть может, о кровавом прошлом. Если железная дорога так никогда и не придёт, чтобы связать его с далёким миром, оно может проспать ещё тысячу лет.

Теперь вы увидите Линкольн точно таким, каким его знали Мёрфи, Максуин и Билли Кид. Селение — анахронизм, этакий город-мумия, выглядящий так, словно его столь же заботливо забальзамировали, как какого-нибудь древнего фараона, чтобы сохранить для современного взгляда поразительно живую картину пограничной жизни полувековой давности.

Единственной улицей ему служит извилистая просёлочная дорога, некогда бывшая целой милей трагедий. Триста его жителей, главным образом мексиканцы, обитают в причудливых домах из саманного кирпича. Здесь нет ни тротуаров, ни электрического освещения, ни водопровода. По ночам в домах горят старомодные керосиновые лампы и свечи. Бережливые хозяйки подставляют лохани под пенящиеся потоки, стекающие с крыш во время дождя. Старая лавка Мёрфи обветшала и покрылась пятнами от непогоды, её наружная штукатурка местами осыпалась, обнажив саманные кирпичи. Теперь её называют зданием суда; большой зал на втором этаже используют для судебных заседаний в дни слушаний; комнаты нижнего этажа служат жильём нескольким семьям, чья многочисленная детвора с воплями играет на местах прежних убийств и среди затянутой паутиной, будто населённой призраками пустоты верхних комнат.

Весь день колоритные мексиканцы сидят то на солнце, то в тени на длинной передней веранде лавки Пенфилда, прежде принадлежавшей Максуину и построенной в соперничество с лавкой Мёрфи, без конца курят папиросы в жёлтой бумаге и без конца судачат по-испански. Если внимательно рассмотреть массивные деревянные ставни старого здания, то между наружным и внутренним слоями дерева можно обнаружить толстый стальной лист, предназначавшийся для защиты от пуль во времена междоусобицы, когда лавка была своего рода крепостью. Лишь изредка на пустынной, безмолвной улице можно заметить какие-нибудь признаки жизни. Быть может, это женщина в капоре от солнца, с корзиной на руке, идущая за покупками. Или высокая груда люцерны на скрипучей, дребезжащей телеге, которую тащат тощие, точно пугала, пони, давно заслуживающие отправки на живодёрню. Или мексиканец в высокой остроконечной шляпе, везущий из гор дрова на ослике. Воздух так неподвижен, что слышно журчание асекии за придорожными садами и сонную песню, которую Бонито поёт среди ив в низинах. Высокие серые стены каньона усеяны пиньоновыми соснами и дубовым кустарником. Выше по каньону сквозь просвет в холмах виднеется исполинское пурпурное плечо горы Капитан.

С трудом верится, что это мирное селение когда-то служило сценой кровавой вендетты. Осталось лишь несколько старожилов, которые ещё помнят истории былых диких времён хотя бы с некоторой точностью в подробностях. Если вам когда-нибудь доведётся побывать в Линкольне, разыщите Мигеля Луну или Флоренсио Чавеса. Они живут там с детства и знают каждое место в городке, за которым стоит какая-нибудь история. Их своеобразные рассказы оживят для вас забытое прошлое.

Вон прямо на дороге, где та курица купается в пыли посреди колеи, скажут вам, был убит шериф Брейди. А там, перед маленькой церковью Сан-Хуан, упал замертво Джордж Хиндман с пулей в сердце. Почти прямо через дорогу находится место убийства адвоката Чепмена. На заднем дворе небольшого домика Хулио Салеса, увитого виноградными лозами, погибли пятеро мужчин в ту ночь, когда дом Максуина был охвачен пламенем. Из того верхнего окна возле угла здания суда Билли Кид застрелил Оллингера; у подножия лестницы внутри мрачного старого здания вы увидите отверстие в стене, оставленное пулей Кида после того, как она прошла сквозь сердце помощника шерифа Белла. Ниже по улице, на дверной притолоке дома Монтанья, теперь наполовину скрытые белой краской, видны буквы «K-I-D», которые Кид в

праздную минуту вырезал там своим перочинным ножом. Единственные вещественные свидетельства деятельности Кида, оставшиеся в Линкольне, — эта пулевая пробоина и три буквы, вырезанные на дверном косяке. Кид не был гением созидания.

«Видите, там, у реки, под тополем стоит чалый конь», — говорит Мигель Луна. «Так вот, именно там наутро после перестрелки нашли мёртвого Билла Хоррелла. Какой-то малый отрезал ему палец, чтобы стащить кольцо».

ГЛАВА III

ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ

Джон Чизум обвинял Мёрфи в краже своего скота. В этих обвинениях он не стеснялся в выражениях. Чизум громогласно разносил их по всем четырём сторонам света. А Мёрфи в своих горах смеялся ему в лицо. Где доказательства? И даже если бы доказательства нашлись, где был закон, способный его наказать?

Поначалу скотоводческое ранчо Мёрфи находилось на равнинах Каррисосо, примерно в тридцати милях к западу от Линкольна. Это было неудобно далеко от долины Пекос — и стад Чизума. Он перенёс его в район Севен-Риверс, примыкавший к долине Пекос, и его стадо в три тысячи голов прославилось как чудесное стадо. Когда о нём заходила речь, жители гор, дружившие с Мёрфи, посмеивались, прикрывая рот ладонью; жители долины, дружившие с Чизумом, свирепо хмурились. Как ни странно, если верить рассказам, число животных в стаде никогда не менялось. Ежегодно Мёрфи продавал скот тысячами голов, но его стадо, подобно неистощимому сосуду с маслом у вдовы, оставалось прежним.

В краже скота Чизума не было ни трудностей, ни опасности. Скотоворы не дожидались лунного света. Они совершали набеги средь бела дня. Скот без присмотра бродил по безграничным равнинам, не разделённым никакими изгородями. Воров некому было увидеть. Им оставалось только согнать небольшое стадо, угнать его в холмы — и дело было сделано.

Джесси Эванс, Джордж Дэвис, его брат — фамилия Эванс была прозвищем, принятым на пограничье, — Фрэнк Бейкер и Билли Мортон, как говорили, стояли во главе похитителей и набивали карманы золотом, угоняя скот Чизума. Говорили, что многие другие люди того же сорта преуспевали ничуть не хуже. Почти не проходило дня, чтобы где-нибудь между Боске-Редондо и горами Гуадалупе вольные разбойники не взимали со стад Чизума дань, то большую, то меньшую. Ярость Чизума была бесплодна. Вернувшись в свои горы, скотоворы оказывались в безопасности среди друзей. Шерифом округа Линкольн был Джеймс А. Брейди из городка Линкольн. В качестве шерифа он олицетворял всё то подобие закона, какое здесь существовало. Но своей должностью он был обязан политическому покровительству Мёрфи, и желание Мёрфи было для Брейди приказом.

Время от времени Чизум добивался выдачи ордеров на арест воров. Когда шериф Брейди никак не мог уклониться от этого, он арестовывал виновных и заключал их в линкольнскую тюрьму. Сделав столько, он с юридической точки зрения уже не мог быть обвинён в пренебрежении обязанностями. Но линкольнская тюрьма была такой же великолепной шуткой, как и чудесное стадо Мёрфи. Она представляла собой крошечную саманную лачугу, стоявшую сразу за лавкой Мёрфи. Заключённый мог бы прорезать себе путь наружу сквозь ломкие саманные кирпичи с помощью хорошего перочинного ножа. Но мало кому из арестантов хотелось утруждать себя подобной работой. Обычно они предпочитали вышибить дверь ногой.

Такие побеги сделались обычным делом и давали повод обвинять шерифа в халатности, поэтому в конце концов он поставил хорошую дверь, которую уже нельзя было вышибить ногами. Тогда, если по ордерам, выданным по заявлению Чизума, в тюрьму сажали угонщиков скота, у их друзей вошло в моду ночью въезжать в город с большой показной удалью и стрельбой из револьверов, для вида заставлять услужливого тюремщика Мёрфи отдать ключи и с шиком освобождать заключённых.

Наконец дело зашло в тупик. Чизум добился ареста воров, которые не сумели выбраться из тюрьмы, выбив дверь или проделав отверстие в стене, и которых приятели по небрежности забыли освободить. Казалось, положение приближалось к кризису. Мёрфи встревожился и вызвал своего адвоката Максуина.

«Вы будете защищать этих людей в суде», — сказал он.

«Я не стану их защищать», — ответил Максуин.

Глаза Мёрфи стали жёсткими. Это был бунт.

«Я держу вас на жалованье как своего адвоката», — холодно заметил он. «Люди, которым я плачу, исполняют мои приказания».

«Эти люди — воры», — возразил Максуин. «Я это знаю; и вы это знаете. Как адвокат, я отказываюсь защищать людей, которым нет оправдания ни по закону, ни по совести».

С этого мгновения работа Максуина в качестве адвоката Мёрфи прекратилась.

Чизум немедленно нанял Максуина. Представляя Чизума, Максуин выступил обвинителем против тех самых воров, которых Мёрфи приказал ему защищать. Их признали виновными и отправили в тюрьму. Свидетельствами на суде было установлено, что Мёрфи был их покровителем и сообщником и не только покупал у них краденый скот, но и постоянно скупал краденый скот у воров, промышлявших грабежом стад Чизума.

Позднее, когда во время междоусобицы уже пролилась первая кровь и Максуин был тайно намечен следующей жертвой мести Мёрфи, Джон Райли, всё ещё внешне сохранявший дружелюбие по собственным соображениям, заглянул в дом Максуинов с визитом, который он назвал исключительно дружеским. На поясе у него не было шестизарядного револьвера; по внешним признакам он явился с миром. Но дружеский визит пришёлся на одиннадцать часов вечера, когда Райли имел все основания рассчитывать застать Максуина с женой одних.

Однако вместо этого он обнаружил Максуина в гостиной в обществе приятных друзей. Приятные друзья с подозрением отнеслись к скрытному сообщнику Мёрфи, который, впрочем, прикрыл приветливой болтливостью всякое удивление, какое мог испытывать. Все они единодушно, с этаким дружеским видом, навели на Райли свои шестизарядные револьверы и, пока он стоял с поднятыми руками, отобрали у него большой револьвер, спрятанный не в обычном заднем кармане брюк, а во внутреннем кармане пиджака, откуда он, если угодно сделать выводы, мог неожиданно выхватить оружие самым обыденным жестом, который едва ли вызвал бы подозрения.

Когда револьвер доставали из кармана, на пол упала записная книжка. Её поднял Сэм Корбетт. После того как Райли указали на дверь, несмотря на его протесты против негостеприимного приёма и заверения в отсутствии каких бы то ни было злодейских намерений, Максуин и его друзья с интересом осмотрели книжку. В ней содержался длинный перечень имён — двадцать пять или тридцать, как говорили, — известных угонщиков скота; против каждого имени было записано количество голов, которые Мёрфи купил по пять долларов за голову, а сумма каждой покупки была аккуратно подсчитана по всем правилам деловой бухгалтерии.

Красноречивые записи в карманной бухгалтерской книжке Райли давали вещественную подсказку к разгадке успехов Мёрфи в получении государственных контрактов. Цены, которые предлагал Мёрфи, неизменно оказывались самыми низкими. Каким образом ему удавалось назначать цены, представлявшие собой самый низкий возможный предел стоимости говядины и припасов для армейских постов и индейских резерваций, долго оставалось загадкой для его побеждённых конкурентов. Теперь тайна раскрылась. Вот перед ними был ответ, написанный чёрным по белому. Но скот, приобретённый по пять долларов за голову, составлял лишь одну статью деловой стратегии Мёрфи. Расследование, проведённое правительством Соединённых Штатов, пролило дополнительный свет на его методы.

Апачи-мескалеро, жившие в резервации в сорока милях к югу от Линкольна, пожаловались, что «мука», которой снабжал их Мёрфи, на самом деле была отрубями. Вдобавок к

этому враги Мёрфи утверждали, что по своему контракту он получал плату за припасы для двух тысяч индейцев, хотя в резервации их было всего девятьсот. Ведомство по делам индейцев прислало из Вашингтона мистера Энджелла для расследования. Мёрфи, любезный и обходительный, встретил представителя правительства в Линкольне, окружил его предупредительным вниманием и сопроводил к управлению резервации. Сначала мистер Энджелл осмотрел «муку». Это были отруби; тут не могло быть сомнений. Мёрфи изобразил изумление. Безусловно, подмена была результатом тайных происков его врагов. В будущем он станет тщательнее следить за своими поставками. Ничего подобного больше не повторится. Ну и прекрасно.

Затем мистер Энджелл приготовился пересчитать индейцев. Мёрфи вызвался помочь. Индейцев собрали со всех концов обширной резервации и привели к дому агента. Сидя на переднем крыльце рядом с Мёрфи, мистер Энджелл считал индейцев, проходивших мимо по одному. Счёт дошёл до девятисот. Но они всё шли мимо. Когда шествие закончилось, оказалось, что их две тысячи. Мёрфи победоносно сиял. Казалось, его честность была доказана.

Лишь несколько недель спустя мистер Энджелл узнал, что его обманули. Проходя перед ним, индейцы, по указаниям посланцев Мёрфи, скрывались за холмом, затем поворачивали обратно и снова проходили мимо него, двигаясь по непрерывному кругу. Он поспешил вернуться в резервацию, во второй раз собрал индейцев и под охраной запер их в большом загоне, построенном специально для этой цели. Затем он выпускал их по одному. На этот раз ошибиться было невозможно, и подсчёт показал девятьсот человек. Официальный отчёт мистера Энджелла о его расследовании вошёл в государственные архивы в Вашингтоне.

Вскоре после разрыва Максуина с Мёрфи в Линкольн прибыл Дж. Х. Танстолл, англичанин, занимавший у себя на родине высокое общественное положение и обладавший состоянием. И наружностью, и речью, и одеждой он был англичанином до мозга костей, и горожане с весёлым любопытством наблюдали, как он беззаботно прогуливается в клетчатой кепке и коротких брюках до колен, с бульдожьей трубкой в зубах. Но он расположил к себе жителей своей жизнерадостностью, бесцеремонным товарищеским обращением и открытой душой. Жизнь на фронтире очаровала его. Сухой, словно гравированный резцом, пейзаж с белым солнечным светом и чёрными тенями околдовал его. Он пил чистый воздух, словно пьяница вино. Необыкновенные ковбои, необыкновенные мексиканцы, необыкновенные горы приводили его в восторг. И он решил сделать эту необыкновенную страну своим домом. Он купил ранчо на Рио-Фелис, в тридцати милях к югу от Линкольна, завёл там лошадей и скот и обосновался.

Танстолла и Максуина сблизили общие взгляды и симпатии, и вскоре они стали близкими друзьями. Когда Танстолл предложил вступить в деловое товарищество и открыть в Линкольне лавку смешанных товаров, основную часть расходов по которой он соглашался взять на себя, Максуин с воодушевлением согласился, хотя жена отговаривала его, предвидя опасные последствия. Но оба они осуществили свой замысел, построили лавку — большое приземистое здание из саманного кирпича — и закупили обширный запас товаров, вложив во всё предприятие довольно значительные средства. С самого дня, когда новая фирма распахнула свои двери, торговля пошла бойко, и вскоре лавка Максуина и Танстолла стала отнимать у Мёрфи значительную долю покупателей, превращаясь в грозную соперницу его заведения. Затем Максуин вместе с Джоном Чизумом и Танстоллом открыл в одном из помещений своей лавки банк, президентом которого стал Чизум, вице-президентом — Танстолл, а он сам — секретарём, казначеем и управляющим. Когда и банк, и лавка стали процветать, Максуин почувствовал, что наконец-то вышел на верную дорогу к богатству.

Но сэр Галахад безмятежно скакал навстречу своему падению. Поскольку все его действия были открытыми и честными, не нарушали ни нравственных, ни юридических законов и имели одобрение его собственной совести, он оставался слеп к тому зловещему воздействию, какое они оказывали на Мёрфи. Он отправил людей Мёрфи в тюрьму. Он разоблачил его нечестность. Он сделался его соперником в торговле. Он заключил союз с Чизумом. Будучи

адвокатом, он продолжал ревностно защищать интересы Чизума прямо под носом у Мёрфи. Он создал могущественное финансовое объединение, которое неизбежно должно было неблагоприятно, если не губительно, сказаться на делах Мёрфи. Но в своей житейской неискушённости и детской вере в прирождённую доброту людей он не понимал, да и не был способен понять, что своими поступками пробудил в Мёрфи озлобление и смертельную ненависть и что в конце концов они должны были побудить этого властелина гор к планам возмездия и мести. Он не подозревал о нарастающей опасности. Волки неслышно шли за ним, прячась в кустарнике, но он беспечно продолжал свой путь, насвистывая беззаботный мотив.

И вот дело о завещании Фрица добавило последний узел к и без того запутанному клубку обстоятельств. Полковник Эмиль. Фриц был компаньоном Мёрфи по лавке маркитанта в форте Стэнтон. Позднее он купил ранчо на Бонито в нескольких милях ниже Линкольна, где благополучно прожил несколько лет. Уже в преклонном возрасте и со слабым здоровьем полковник Фриц вернулся в Германию, в родные места своего детства, где и умер, оставив завещание и страховой полис на десять тысяч долларов, которые он вверил на хранение своему старому другу Мёрфи. Помимо ранчо и скота в каньоне Бонито, главную часть наследства полковника Фрица составлял страховой полис, завещанный его сестре, миссис Фред Шолланд.

После его смерти брат полковника Фрица, Чарльз Фриц, взялся привести дела покойного в порядок. Но когда он потребовал завещание и страховой полис, Мёрфи отказался отдать и то и другое, объяснив отказ тем, что полковник Фриц умер, задолжав ему крупную сумму денег. Никаких доказательств существования такого долга представлено не было, но Мёрфи утверждал, что завещание содержало условие о возмещении ему долга за счёт страховой суммы. Как рассказывали, Мёрфи держал завещание в жестяной банке, спрятанной в тайнике внутри стен его линкольнской лавки, поскольку в те времена в этих краях было мало сейфов как для частных, так и для общественных денег. Существовало ли в завещании такое условие или нет, широкой публике так и не стало известно, поскольку завещание никогда не представляли для утверждения судом, а Мёрфи обвиняли в том, что он уничтожил его. Что же касается страхового полиса, то бережливый Мёрфи заложил его братьям Шпигельберг, торговцам из Санта-Фе, в обеспечение товаров, выставленных по счёту на девятьсот долларов.

Максуин, которого Чарльз Фриц и миссис Шолланд наняли своим адвокатом, взялся получить страховую сумму. Он из собственного кармана уплатил братьям Шпигельберг девятьсот долларов, чтобы погасить долг Мёрфи, и, получив полис, во время поездки на Восток взыскал по нему все деньги и положил десять тысяч долларов в банке Сент-Луиса на своё имя. Как говорили, Мёрфи и сам ещё задолжал Максуину значительную сумму за прежние юридические услуги. По соглашению с миссис Шолланд и Чарльзом Фрицем вознаграждение Максуина за получение страховки было установлено в три тысячи долларов, а сверх того ему должны были возместить деньги, уплаченные братьям Шпигельберг, и расходы на поездку на Восток. Однако, когда он вернулся в Линкольн, Мёрфи потребовал всю страховую сумму в счёт погашения долга, который, по его утверждению, полковник Фриц оставался ему должен. Притязание Мёрфи оказалось спичкой, поднесённой к пороховому погребу опасного положения.

Куда делись десять тысяч долларов страховых денег, жители округа Линкольн так никогда и не узнали. Как рассказывали, ни Мёрфи, ни наследники Фрица, ни Максуин не получили из них ни доллара. Когда во время междоусобицы сторонники Мёрфи подожгли дом Максуина в Линкольне, Максуин, как утверждали, выбросил из окна депозитные сертификаты, чтобы спасти их от огня, и их подобрал приспешник Мёрфи по фамилии Харт, которому каким-то образом удалось получить по ним деньги. Согласно этому рассказу, Харт отправился в Севен-Риверс, где похвалялся своим внезапно свалившимся богатством. Он безудержно сорил деньгами в салунах, а однажды его нашли мёртвым в реке Пекос, с перерезанным горлом и вывернутыми карманами.

Дела Мёрфи подошли к критической черте. Он потерпел поражение по всем направлениям. Всё шло наперекосяк. Его враги брали верх. Чтобы избежать полного затмения и разорения, он должен был действовать решительно. Время дипломатии миновало. Отчаянные трудности требовали отчаянных мер. Словно волк, которого свора гончих выгнала из тайного логова на открытое место и уже настигала по пятам, он развернулся и приготовился защищаться.

ГЛАВА IV

ПЕРВАЯ КРОВЬ

Утром 13 февраля 1878 года в городке Линкольне царили необычайные суета и оживление. По дорогам каньона с грохотом копыт съезжались всадники. У коновязи перед Большой лавкой стояли осёдланные пони, выстроенные в ряд. На улице мрачными группами толпились люди с суровыми глазами, опиравшиеся на винтовки. В баре Мёрфи торговля шла бойко, и мексиканец за стойкой едва поспевал выставлять бутылки и стаканы. «Подходите, парни, сегодня угощаю я». «За ваше здоровье!» «Наполняй ещё раз». Мёрфи и шериф Брейди вели важные совещания, вполголоса и серьёзно переговариваясь. Долан расхаживал с вызывающим видом. Скрытный Райли бесшумно сновал вокруг, с любезной улыбкой на лице.

Затем по одному слову двадцать человек вскочили в сёдла, с револьверами на поясах и винтовками поперёк передних лук, и ускакали на лошадях, гарцевавших и выделывавших курбеты; командовал Билли Мортон, которого шериф Брейди только что назначил своим помощником; в отряде находились Фрэнк Бейкер, Билли Мэтьюз, Том Хилл, Джон Робинсон и несколько мексиканцев; сведений о том, кем были остальные, не сохранилось; говорили, что все они состояли на жалованье у Мёрфи. Мортон и Брейди были бывалыми ковбоями и прежде дружили с Билли Кидом, но отныне им предстояло стать его врагами, а ему — их врагом. Том Хилл был грубым, крикливым задирой, о котором говорили, будто он убил одного или двух человек. Джесси Эванс, тоже друг Билли Кида, по-настоящему отважный и искусный в обращении с оружием, по словам некоторых, также находился в этом отряде, однако впоследствии отрицал своё участие, и этим отрицанием, несомненно, спас себе жизнь.

Отряд проехал мимо дома Максуинов, где миссис Максуин молча наблюдала за ним с порога, мимо лавки Максуина и Танстолла, маленькой церкви Сан-Хуан, дома Монтанья, дома Эллиса, лавки и салуна Хуана Патрона, мимо мексиканок в чёрных шалях, которые пристально смотрели вслед со своих дворов, и смуглых ребятишек, цеплявшихся за юбки матерей и глядевших испуганными глазами. Так они выехали из города на юг, вниз по каньону Бонито, и скрылись за выступом горного склона.

Мёрфи добился судебного постановления о наложении ареста на имущество лавки Максуина и Танстолла, намереваясь взыскать прежний долг, существование которого он приписывал Фрицу; эта мера находилась в пределах его прав и была, несомненно, законной, поскольку Максуин получил деньги по страховке Фрица и положил их в банк на собственное имя. Но с той же целью он добился также постановления об аресте имущества, направленного против. Ранчо Танстолла и его скота на Рио-Фелис, хотя прекрасно знал, что имущество на Рио-Фелис принадлежало исключительно Танстоллу, а Максуин не имел к нему никакого отношения. Этот поступок не имел даже видимости законности и, судя по развязке дела, был предпринят лишь затем, чтобы убрать Танстолла с дороги как соперника в скотоводстве, а также, поскольку тот был компаньоном Максуина по лавке, как соперника в торговле.

Постановление об аресте имущества лавки так и не было вручено; зато постановление против Танстолла Мёрфи передал своему подручному, шерифу Брейди, который немедленно привёл к присяге вооружённый отряд и отправил его на Рио-Фелис. Обычно исполнение такой обязанности было простой формальностью, поручаемой одному помощнику шерифа, и в данном случае не имелось оснований предполагать, что Танстолл не примет документы мирно и не предоставит суду решить спор. Но здесь по воле Мёрфи для вручения простого судебного

документа выступила настоящая военная экспедиция. Было совершенно ясно, что отряд из двадцати вооружённых до зубов человек отправлялся отнюдь не с мирной целью.

Между тем на ранчо Фелис Танстолл занимался своими делами, ничего не подозревая об опасности. Ни один случайный слух не принёс ему вести ни о судебном постановлении, ни о приближении вооружённого отряда. Поскольку в Линкольне ему предстояло уладить кое-какие дела, а зимний день выдался тёплым и солнечным, он отправился верхом в город в сопровождении двух своих работников. Одним из них был его управляющий Дик Брюэр. Другим — тихий, стройный юноша с серыми глазами, проживший в этих краях всего несколько месяцев и ещё не успевший приобрести широкой известности, по имени Билли Кид.

Когда трое всадников по пути в Линкольн пересекали водораздел между Фелис и Риудосо, им попалась стая диких индеек, которые бросились в заросли чапараля на холмах. Воображая жирного индюка, как следует зажаренного и поданного за вечерним обедом в доме Максуинов с начинкой и душистым соусом, Брюэр и Билли Кид устремились за птицами в холмы. Танстолл поехал дальше один, пустив лошадь шагом и рассчитывая, что двое остальных нагонят его ниже по тропе.

Внезапно позади него послышался дробный стук лошадиных копыт. Обернувшись в седле, он увидел, как линкольнский отряд во весь опор мчится к нему. Он развернул лошадь навстречу всадникам и стал ждать их с недоумённой улыбкой. Когда они приблизились, он узнал знакомые лица. В первые дни после своего приезда он дружески общался с этими парнями в Линкольне. По-видимому, он полагал, что они по-прежнему его друзья и всего лишь затеяли какую-нибудь безумную шалость.

«Ей-богу, парни, — весело воскликнул он, когда они со всех сторон подскакали к нему, — что случилось? А?» Ответом ему стал выстрел, сразивший его насмерть и сбросивший из седла. Одни утверждают, что выстрелил Билли Мортон; другие, и, по-видимому, на основании более надёжных свидетельств, — что Том Хилл. Во всяком случае, после того как Танстолл упал на землю, Хилл соскочил с лошади, приставил винтовку к затылку Танстолла и вышиб ему мозги. Эти дикари, полупьяные от виски и обезумевшие от вкуса крови, превратили убийство беззащитного человека в оргию. Пантилон Гальегос, мексиканец из каньона Бонито, раздробил ему голову зазубренным камнем. Англичанин-то думал, что всё это шутка. Что ж, раз уж взялись, они устроят шутку на славу. Они убили лошадь Танстолла, вытянули его тело рядом с мёртвым животным лицом к небу, сложив руки на груди и сдвинув ноги вместе. Под голову человека они подложили его шляпу, а под голову лошади — аккуратно сложенное пальто хозяина, словно подушки. Так убитый человек и мёртвая лошадь выглядели так, будто вместе забрались в постель и уснули. Таково было их дьявольское издевательство, их шутка — жуткая и бессмысленная. Затем они поскакали обратно в Линкольн, всю дорогу горланя пьяные песни.

Отряд, направившись из Линкольна коротким путём через холмы, сперва прискакал на ранчо Танстолла и, не застав там никого, настиг хозяина в пяти милях от дома. Билли Киду и Брюэру повезло, что они отправились охотиться на диких индеек, иначе их ждала бы участь Танстолла. С далёкого склона холма они видели убийство. Всё произошло так быстро, что никакая их отчаянная попытка прийти на помощь не могла бы ничего изменить. Им оставалось лишь спасать собственные жизни. Незамеченными они скрылись за гребнем холмов.

Вернувшись в Линкольн, Мортон и его люди доложили о случившемся Мёрфи и шерифу Брейди. Стыдясь содеянного, они прибегли ко лжи. По их словам, ранчо Танстолла оказалось превращено в крепость, с укреплениями из брёвен и мешков с песком. Он обратился в бегство и, когда после долгой погони они настигли его, открыл по ним огонь. Его сопротивление вынудило их убить его. Рассказ, быть может, и правдоподобный, но позднее его опровергли некоторые из самих участников отряда, раскаявшиеся в своём трусливом поступке. Но Танстолл

был мёртв. Для Мёрфи именно это было главным. В тот вечер он распорядился бесплатно разливать спиртное в своём баре, и рассвет застал его приспешников всё ещё празднующими.

Ночью Максуин послал мексиканцев привезти тело. Они нашли Танстолла в том положении, в каком его оставили убийцы, словно приготовленного ко сну, с головой на подложенной под неё шляпе и лунным светом в широко раскрытых глазах. Они переложили его поперёк спины ослика и отправились обратно через горы по редко посещаемым тропам.

С одной стороны маленького животного почти до земли свисали ноги покойника, с другой — голова и руки. Крапива и колючие кусты у тропы безжалостно исцарапали ему руки и лицо и разорвали штанины в клочья. Когда над восточными вершинами забрезжили первые признаки утра, скорбный путь закончился у дверей лавки Максуина в Линкольне.

В тот день Танстолла похоронили позади лавки Максуина, на уступе земли, возвышавшемся над рекой Бонито. Билли Кид находился среди небольшой группы людей, стоявших у могилы, когда тело предавали земле. Танстолл был ему не только нанимателем, но и другом. Однако в глазах юноши не было слёз, как не было и никаких признаков скорби. У этого мальчишки был свой способ воздавать должное погибшему другу, и слёзы не входили в его обряд. От края этой могилы, ставшей для него порогом нового поприща, которому предстояло быть усеянным могилами, он отвернулся, неспешно направился к переднему крыльцу лавки Максуина, прислонился к столбу и свернул себе сигарету.

Весть об убийстве Танстолла разнеслась по горам, и кланы стали собираться, словно по зову пылающего креста. Со всех сторон в Линкольн съезжались вооружённые люди. Вскоре вокруг Максуина сплотилось пятьдесят человек; столько же встало на сторону Мёрфи. Если взглянуть на дело беспристрастно, теперь ясно, что дело Мёрфи было в основе своей неправым, а дело Максуина — правым; что Мёрфи был беспринципным диктатором, а Максуин — защитником принципа; что Мёрфи олицетворял беззаконие, а Максуин — закон. Однако вопрос о правоте или неправоте почти не принимался в расчёт. Люди примыкали к той или другой стороне в зависимости от прежней верности и личных интересов. Немногие сохраняли нейтралитет. Либо Мёрфи, либо Максуин: выбирай сторону или будь готов отвечать за последствия.

Немало людей по обе стороны руководствовалось исключительно корыстными побуждениями. Оба предводителя создали небольшие постоянные вооружённые отряды из бойцов, нанятых за щедрую плату. Эти бойцы были самыми отпетыми головорезами в округе, лихими наездниками, отчаянными пьяницами, удальцами, готовыми к любому приключению или безрассудному предприятию. Рядовые участники обеих группировок мало чем отличались друг от друга; не все хорошие люди оказались на стороне Максуина и не все дурные — на стороне Мёрфи.

Став главой группировки, готовившейся к войне, Максуин остался верен своим религиозным убеждениям и среди смуты того времени продолжал быть добросовестным христианином. Обстоятельства вынудили его принять на себя руководство, к которому он не был подготовлен. Стремительный поток событий увлёк его в кровавую вендетту. Чтобы выжить, ему приходилось сражаться. На карту была поставлена его жизнь. Но от начала и до конца лично он придерживался оборонительной позиции. Он не замышлял насилия и не одобрял его. Удары по его врагам наносили его бойцы, действовавшие по собственной инициативе.

Дик Брюэр, ветеран пограничья, был назначен начальником вооружённых сил Максуина, а Билли Кид стал главным помощником Брюэра — не по назначению, а благодаря своим природным качествам. Планы военных действий Максуин, Брюэр и Билли Кид обсуждали в гостиной дома Максуина.

— Я пристрелю, как собаку, каждого, кого смогу найти из тех, кто участвовал в убийстве Танстолла, — сказал Кид.

Брюэр слушал в мрачном молчании. Это были сильные слова для никому не известного безбородого мальчишки.

— Не делай этого, — мягко посоветовал Максуин. — Давай забудем о мести. Мы должны сражаться только ради защиты собственной жизни и имущества.

— Танстолл был моим другом, — заявил Кид, и ему казалось, что этим сказано всё.

Танстолл и Билли Кид во всём принадлежали к совершенно разным мирам. За плечами Танстолла стояли воспитание и культура; за плечами Кида — жизнь на фронтире. Они отличались друг от друга, как день от ночи, характером, мыслями и взглядами на жизнь. То, что для Танстолла было белым, для Кида было чёрным. Но, как ни странно, между ними возникла крепкая дружба. Эта дружба была единственным, что их объединяло. Дружба была одной из немногих вещей, которые Кид почитал священными; обида, нанесённая другу, была для него личной обидой, и он придерживался древнего закона: око за око и зуб за зуб.

После убийства англичанина Кид с головой бросился в междоусобицу, чтобы отомстить за смерть друга. По-видимому, нет оснований приписывать ему какие-либо другие побуждения, другие сражались за плату. Билли Кидом двигала верность дружбе. Но это чувство рыцарской преданности, которое следует признать за ним, соединялось в нём с духом первобытной жестокости, заставлявшей его считать кровь врагов друга лучшим возлиянием, какое он мог принести памяти своего друга.

ГЛАВА V

КИД

Легенде о Билли Киде в Нью-Мексико, по-видимому, суждено мягкое и добродушное бессмертие, подобное тому, которое золотит проступки и преувеличивает добродетели таких старинных плутов, как Робин Гуд, Клод Дюваль, Дик Тёрпин и Фра-Дьяволо. Судя по рассказам о нём, которые услышишь повсюду, можно соблазниться мыслью, что он — самый любимый герой в истории штата. Его преступления забыты или прощены, тогда как его верность, весёлая отвага и сверхчеловеческие приключения бережно хранятся в благодарной памяти. Мужчины говорят о нём с восхищением; женщины превозносят его галантность и оплакивают его судьбу. О нём сложились нехитрые баллады на испанском и английском языках, и на каждой маленькой площади Нью-Мексико мексиканские девушки поют под гитары песни о Билли Киде. Над его непутёвой головой уже водрузили нимб. Мальчик, который так и не состарился, стал своего рода символом странствующего рыцарства фронтира, воплощением вечной юности, вечно скачущим сквозь пурпурное сияние романтической легенды.

Седобородый скальд на пиру с кабаньей головой, когда в суровом зале викингов по столу ходили пенящиеся кубки с мёдом, никогда не пел под свою дикую арфу саги более захватывающей, чем история Билли Кида. Её герой — мальчик: мальчик в начале истории, мальчик в её конце; мальчик, рождённый для битв и кровной мести, ненависти и убийств, трагической победы и трагического поражения и принимавший всё это с улыбкой.

Судьба устроила сцену. Неведомо откуда на неё, в самую гущу драмы, вышел этот никому не известный мальчик. Против него играла Смерть. Это была драма о Смерти и Мальчике. Смерть неотступно шла по его следу. Она беспрестанно тянулась к нему костлявыми руками. Она подстерегала его в засаде. Она подталкивала его к ступеням виселицы. Пулями, пожарами, хитростями, всяческими смертоносными уловками она стремилась погубить его. Но поймать мальчика было не так-то просто. Он спасался словно чудом; казалось, его оберегало колдовство. Он смеялся над Смертью. Смерть была для него шуткой. Он лихо махал Смерти рукой на прощание и отправлялся навстречу новым приключениям. Но неумолимый круг снова смыкался. Теперь жизнь казалась сладостной. Она манила любовью и счастьем. Перед ним открывалась золотая даль. Он ступал на залитую солнцем дорогу. Быть может, на мгновение мальчик поверил, что этой драме сужден счастливый конец. Но нет. Судьба подавала реплику из-за

кулис. Наступал момент кульминации. Мальчику отпущен был его час. Настал черёд Смерти. И вот занавес.

Билли Кид был самым знаменитым отчаянным бандитом Юго-Запада и последним из его великих преступников. Он умер в двадцать один год, и ему приписывали убийство двадцати одного человека — по одному за каждый год его жизни. Немногие судьбы в летописях первопроходцев были столь колоритны; отдельные его подвиги вошли в число классических приключений Запада. Он жил в переходную пору истории Нью-Мексико. Его жизнь завершала прошлое; его смерть открывала настоящее. Его разрушительная и, казалось бы, бесплодная карьера послужила созидательной цели: она наглядно показала, что процветание Нью-Мексико может быть построено лишь на основе устойчивости и мира. После него наступила великая перемена, для которой он, сам того не желая, расчистил путь. Закон и порядок пришли вместе со вспышкой и дымом шестизарядного револьвера, который одной пулей положил конец и этому преступнику, и преступному беззаконию.

То, что за короткую жизнь в двадцать один год мальчик сумел добиться столь мрачного первенства на беспокойном и беззаконном пограничье, казалось бы, свидетельствует об исключительной и необыкновенной личности. Он был рождён для своего поприща. Умственные и физические задатки, которые обеспечили действенность и опору его гению истребления людей и позволили ему выжить в бурную пору заговоров и убийств, были скорее врождённым даром, нежели приобретённым умением. Ему был присущ комплекс отчаянного преступника, в котором, чтобы человек с таким складом мог просуществовать в окружающих условиях хоть сколько-нибудь долго, неизбежно соединялись необычайно сложная и загадочная психология и ловкий палец на спусковом крючке.

Под микроскопом психоанализа Билли Кид, несомненно, выглядел бы не лучшим образом. Взвешенный на тонких весах психиатрии, он был бы аккуратно снабжён ярлыком и отнесён к какой-нибудь категории раздвоения личности или патологического психоза. Комплекс отчаянного преступника, образцом которого он служил, можно, пожалуй, определить как застывший эгоизм плюс безрассудство минус милосердие. В менее тяжёлых своих формах он встречается нередко. Есть свои десперадо и в деловом мире, и на церковной кафедре, и в гостиной. Делец, замышляющий разорение соперника; священнослужитель, обрекающий на вечные муки всех, кто не верит в его личное вероучение; похититель сердец, уводящий мужа у другой женщины; обезумевший от скорости автомобилист, не считающийся ни с жизнью, ни со здоровьем людей, — всё это разновидности десперадо. Толпа, учиняющая самосуд, — собирательный десперадо. Среди убийц есть хорошие и дурные десперадо; и те и другие одинаково смертоносны, но одни убивают вопреки закону, а другие — ради его защиты. Дикий Билл заслужил свою славу как блюститель закона, убив немало людей ради установления мира. Хороший «плохой человек» занимал определённое место в освоении Запада.

Однако, чтобы быть справедливым к Билли Киду, судить его следует по меркам его места и времени. Та часть Нью-Мексико, где он прожил свою жизнь, была самым кровавым уголком Запада. Война в округе Линкольн, на фоне которой протекала его жизнь, была рассадником самых разных видов и степеней десперадо. Там встречался десперадо в зародыше, чья биография оставалась почти ничем не примечательной лишь потому, что ему не представлялось предлога или случая для убийства; будущий десперадо, любивший мелодраму и считавший себя, как художник, призванным пролить несколько капель крови ради поддержания престижа своей мелодрамы; и десперадо с подлинным духом, но посредственным мастерством, чьё восхождение к вершинам внезапно обрывал другой человек, на одну восьмую секунды быстрее нажимавший на спуск. Все эти люди были столь же беспощадны и отчаянны, как Билли Кид, но им недоставало того вдохновения, которое сделало его законченным мастером. Они были подмастерьями, трудолюбиво вырезавшими зарубки на рукоятках своих револьверов. Он был

гением, который шестизарядным револьвером выводил своё имя огненными красками на небе Юго-Запада.

Помня о его трагическом послужном списке, можно простить тому, кто вообразит Билли Кида бесчеловечным чудовищем, упивающимся кровью. Но такое представление было бы несправедливо к нему. Это был юноша с живым, быстрым умом, щедрый, не лишённый доброты, легко откликавшийся на чужие чувства. Его неизменная преданность друзьям вошла в поговорку. С друзьями он был безукоризненно честен. Угрюмость и мрачность были ему чужды. Он был весёлым, полным надежд, разговорчивым и любил смеяться. Он не имел привычки важничать или хвастаться. Он был тихим, скромным, учтивым. Он пользовался большим успехом у женщин и в обращении с ними следовал лучшим традициям пограничья.

Но где-то среди этих приятных человеческих качеств скрывался провал в его характере — ледяная пустота, лишённая всяких человеческих чувств. Временами он становился самим воплощением безжалостной, не знающей раскаяния смертоносности. Он не придавал человеческой жизни никакой цены, меньше всего — собственной. Он убивал человека с той же беззаботностью, с какой закуривал сигарету. Убийство не представлялось Билли Киду трагедией; оно было всего лишь физическим действием — нажатием на спусковой крючок. Если ему казалось необходимым убить человека, он убивал его и заканчивал дело так аккуратно и с наименьшим шумом, насколько это было возможно. Совершая убийства, он не соблюдал никаких правил приличия и не считал себя связанным никакими тонкостями чести. Если он убивал человека, которого хотел убить, ему было безразлично, каким способом он это делал. Когда обстоятельства требовали, он сражался честно и стрелял лицом к лицу, но в иных обстоятельствах не гнушался убийством исподтишка. Он так же хладнокровно пускал пулю в сердце человеку, как простреливал жестянку, поставленную на столб изгороди. Он не испытывал угрызений совести. Никакие воспоминания его не преследовали.

Его храбрость не вызывала сомнений. Это была неизменная храбрость, остававшаяся одинаковой при любых обстоятельствах, будь то полдень или три часа ночи. В биографиях многих прославленных головорезов Запада встречаются постыдные свидетельства трусости. Рассказывают, что в некоторые отчаянные минуты, когда обстоятельства складывались против них, они теряли мужество и оказывались не храбрее любого другого человека, когда, например, противник успевал первым выхватить револьвер и они внезапно заглядывали в чёрную бездну смерти сорок четвёртого калибра. Но не сохранилось ни одного рассказа о том, чтобы Билли Кид хоть раз проявил трусость. Каждый час его отчаянной жизни был решающим, и он никогда не боялся смерти. «Один шанс на миллион» — таково было одно из его любимых выражений, и не раз он пользовался этим шансом с беспечной храбростью кавалера. Даже ненавидевшие его люди и те, кто преследовал его до самой гибели, признавали его абсолютное бесстрашие.

Но одной храбрости было бы недостаточно, чтобы выделить его на Юго-Западе, где храбрость была традицией. То, что отличало его мужество от мужества других смельчаков, заключалось в невозмутимости, не знавшей нервного напряжения. Ничто не приводило его в возбуждение. У него была железная выдержка, но, казалось, вовсе не было нервов. В самых волнующих обстоятельствах он сохранял холодное, ничем не нарушаемое самообладание. Даже когда смерть казалась неизбежной, лицо его оставалось спокойным; твёрдые руки ничем не выдавали учащённого пульса; никакая необычная вспышка в глазах — а глаза считают Иудами Искариотами души — не выдавала ни его чувств, ни его замыслов.

Секрет величия Билли Кида как отчаянного стрелка — а знатоки подобных дел считали его почти идеальным представителем своего рода — заключался в удивительной согласованности ума и тела. Он обладал не только волей убивать, но и умением это делать. Отвага, хладнокровие и быстрота мысли не помогли бы ему, если бы они не сочетались с физической проворностью и меткостью, позволявшими ему, скажем, с тридцати шагов аккуратно всадить пулю человеку между глаз. Ему противостояли не любители пострелять из револьвера, а опытные

бойцы, сами искусно владевшие оружием. Люди, которых он убил, убили бы его самого, не превзойди он их в быстроте смертоносного действия. В опасности его ум оставался не только спокойным, но и необыкновенно ясным и подвижным, по-ястребиному высматривая любое преимущество и пользуясь им с невероятной стремительностью. Он умел превращать порыв в действие с плавной быстротой вспышки света. Хотя некоторые другие стрелки на учебных стрельбах вполне могли соперничать с ним, говорят, что на всём Юго-Западе не было человека, равного ему в молниеносной быстроте, с какой он выхватывал из кобуры шестизарядный револьвер и тем же движением производил смертельно точный выстрел. Между прочим, можно заметить, что стрелять по мишени — одно дело, а стрелять по человеку, который в это время палит в тебя, — совсем другое; Билли Кид же одинаково хорошо справлялся с обоими видами стрельбы.

Внешность его была довольно привлекательной. Молодость, здоровье, добродушие и улыбка — такое сочетание обычно придаёт человеку известную привлекательность. Лицо у него было длинное и бесцветное, если не считать густого загара, которым его окрасили солнце, ветер и непогода, и отличалось некоторой асимметрией, вовсе его не портившей. Светло-каштановые волосы он носил обычно довольно длинными, и они слегка вились. Глаза у него были серые, ясные и спокойные. Верхние передние зубы были крупными и слегка выступали вперёд, несколько портя выражение хорошо очерченного рта. Кисти рук и ступни были у него на редкость маленькими. Ростом он был пять футов восемь дюймов, строен и пропорционально сложен. Для человека столь небольшого роста он обладал необыкновенной силой, а руки и плечи у него были довольно мощными. В хорошей форме он весил сто сорок фунтов. В степи, среди пастбищ, он выглядел таким же грубоватым, как всякий другой ковбой. В городах, в обществе почтенных людей фронтира, он одевался опрятно и немало заботился о том, чтобы выглядеть представительно. Многие, особенно женщины, считали его красивым. На фанданго он пользовался большим успехом у дам и слыл хорошим танцором.

Он держался с непринуждённой, неподдельной, беспечной беззаботностью, которая ничем не выдавала его кипучей энергии. Обычно его движения были размеренны и неторопливы. Однако во всём, что он делал, присутствовал известный расчёт. Подобно бильярдисту, который играет с расчётом на следующую позицию, он заранее прикидывал, что ему, возможно, придётся делать потом. Эта предусмотрительность и заблаговременная подготовка даже к самым незначительным обстоятельствам служили ему своего рода подсознательной кольчугой. Он был готов к опасности даже тогда, когда его никто о ней не предупреждал, и вечно оставался настороже.

Подобно всем знаменитым убийцам Запада, Билли Кид принадлежал к светловолосому типу. Дикий Билл Хикок, Бен Томпсон, Кинг Фишер, Генри Пламмер, Клей Эллисон, Уайатт Эрп, Док Холлидей, Фрэнк и Джесси Джеймсы, братья Янгеры и Далтоны — список можно продолжать долго — все были светловолосыми. Среди них не было ни одной пары карих глаз. В те времена, когда шестизарядный револьвер правил фронтиром, смерть сверкала из серых и голубых глаз. Эта светловолосость отчаянных преступников — любопытный факт, противоречащий народному воображению и традициям живописи и театра. С незапамятных времён театр изображал своих неприятных персонажей черноволосыми и черноглазыми. В народном сознании смуглость связывается со злодейством. Голубые глаза и золотые волосы по художественному канону служат своего рода небесным клеймом. Ни один художник ещё не отважился написать крылатого херувима с вороново-чёрными кудрями, и поиски среди картин всего мира не обнаружили бы ни одного кареглазого ангела. Можно, кроме того, заметить как любопытную подробность, что дурные люди Запада никогда не были тяжёлыми, неповоротливыми, угрюмыми грубиянами. Большинство из них отличались приятной наружностью, а некоторые были замечательно красивы. Дикий Билл Хикок, идеал отчаянного стрелка, считался самым красивым человеком своего времени на фронтире и с голубыми глазами и жёлтыми волосами, нис-

падавшими на плечи, шёл сквозь полную трагедий жизнь, обладая чем-то от красоты греческого бога. Таковы факты в противовес вымыслу. Холодная смертоносность в истории Запада, по-видимому, предпочитала холодные оттенки глаз, волос и кожи.

Хотя возможно, что приписываемые Билли Киду двадцать одно убийство — преувеличение, есть серьёзные основания считать эту цифру верной. Он проявил поразительную раннюю склонность к убийствам; говорят, первого человека он убил, когда ему было всего двенадцать лет. Предполагают, что ещё до появления в округе Линкольн он убил около двенадцати человек. Этот ранний период его жизни окутан неизвестностью. Начиная с войны в округе Линкольн, его жизненный путь легко прослеживается и надёжно подтверждается свидетельствами.

Теперь невозможно назвать поимённо двадцать одного человека, которых он убил, хотя, если включить в счёт индейцев, набрать это жуткое число нетрудно. Возможно, среди совершённых им убийств были и тайные, о которых знал только он сам. В Нью-Мексико ходило множество неподтверждённых историй, в которых имена его жертв не назывались. Одна история приписывает ему убийство пятерых мексиканцев в лагере близ Севен-Риверс. Согласно другой, в нескольких из двадцати с лишним безымянных могил на берегах Пекоса, там, где некогда находилось ранчо Боске-Гранде Джона Чизума, покоится прах людей, которых Кид отправил в вечный сон.

Сам Кид утверждал, что убил двадцать одного человека. Он неоднократно и совершенно недвусмысленно говорил об этом разным людям, и при этом его никогда не считали ни хвастуном, ни лжецом.

«Я убил двадцать одного человека и хочу довести это число до двадцати трёх, прежде чем умру», — сказал он незадолго до смерти Питу Максвеллу в Форт-Самнере. «Если проживу достаточно долго, чтобы убить Пэта Гарретта и Барни Мейсона, буду доволен».

Шериф Пэт Гарретт, который несколько лет был близким другом Кида — и который его убил, — считал, что на счету Кида одиннадцать человек. Джон У. По, находившийся с Гарреттом во время гибели Кида, принимал собственные слова Кида за истину. В письме, написанном мне незадолго до его смерти в 1923 году, По говорил:

За пятьдесят лет, проведённых мною на Юго-Западе, я не знал и даже не слышал ни об одном человеке, который убил бы больше людей, чем Билли Кид. Я не могу назвать по именам двадцать одного человека, которых он убил; не может этого сделать и никто из ныне живущих. Сомневаюсь, чтобы когда-либо существовал человек, способный назвать их всех, кроме самого Кида. Только он один знал точное число. Он говорил, что убил двадцать одного человека, и я ему верю.

По, сменивший Пэта Гарретта на посту шерифа округа Линкольн и ко времени своей смерти занимавший должность президента Национального банка граждан в Розуэлле, был опытным охотником за преступниками и знал уголовный мир Юго-Запада так, как немногие другие. Если По, лично и хорошо знавший Кида, верил его собственному заявлению, то, по-видимому, это даёт достаточные основания предполагать, что заявление соответствовало истине.

Так обстоит дело. Поскольку большинство участников давней драмы уже умерло, можно с уверенностью сказать, что трагическая загадка — сколько людей пало от выстрелов шестизарядных револьверов Билли Кида — никогда не получит окончательного ответа. Несомненно, список был длинным. И стоит помнить, что Кид умер ещё мальчиком и, как бы ни перечисляли его убийства, каждому пункту этого списка соответствует могила.

Чтобы представить себе причудливость характера Билли Кида, попробуйте вообразить себя на его месте. Предположим, если угодно, что под давлением обстоятельств вы убили нескольких человек. Допустим, вы считали эти убийства оправданными. Прекрасно. Принесла бы вам спокойная совесть душевный покой? Нет. Если бы вы не сожалели о самих убийствах,

то глубоко сожалели бы о необходимости их совершить. Мысль о крови, лежащей на вашей душе, преследовала бы вас вечно. Ваш дух был бы потрясён и омрачён угрызениями совести.

Но и это было бы ещё не всё. Родственники и друзья тех, кого вы убили, возненавидели бы вас. Их ненависть преследовала бы вас повсюду. Они шли бы за вами по пятам и подстерегали удобный случай лишить вас жизни. Они высматривали бы возможность отомстить с пристальным взглядом хищников джунглей.

Но и этим не исчерпалась бы чаша ваших несчастий. Вы приобрели бы зловещую репутацию драчуна и убийцы. Люди, у которых не было с вами никакой ссоры и которых ваши убийства никак не затрагивали, смотрели бы на вас как на опасного зверя, угрозу обществу, существо, поставившее себя вне человеческого сочувствия и закона. Эта свора в любую минуту была бы готова безжалостно наброситься на вас и растерзать. К каждому камню и дереву вы приближались бы с осторожностью, опасаясь выстрела затаившегося врага. Вы не осмелились бы дважды переночевать в одной постели. Вы подозревали бы каждого человека в предательстве. Садясь за стол, вы чувствовали бы, будто напротив вас сидит Смерть, вперив в вас пустые глазницы. В любую минуту вы ожидали бы пули или удара ножа, направленного невыразимой ненавистью. Страх шёл бы с вами рука об руку и по ночам ложился бы рядом. Вы не смогли бы улыбаться; мир и счастье были бы вам недоступны; по эту сторону могилы для вас не осталось бы ни вкуса к жизни, ни радости. В отчаянии вы приветствовали бы смерть как избавление от безысходного ада своей затравленной жизни, полной мучительных призраков.

Но Билли Кид был сделан не из того теста, что обыкновенные люди. Он, должно быть, обладал необыкновенной способностью забывать; казалось, каждое утро он выпивал непент, погружавший в небытие все его вчерашние дни. Для него не существовало прошлого. Он жил настоящим, от минуты к минуте, и всё же жил счастливо. Он убивал без волнения и без волнения принимал последствия своих убийств. Его убийства были крепким спиртным, от которого не болела голова. Окружённый врагами, которые с радостью убили бы его, дыша атмосферой горькой ненависти и каждую минуту рискуя умереть насильственной смертью, он шёл по жизни без раскаяния, не терзаемый ни нервами, ни воспоминаниями, весёлый, беззаботный, бесстрашный, неизменно улыбающийся.

Если вы хотите узнать, с какой нежностью жители Нью-Мексико по сей день хранят память о Билли Киде, вам стоит лишь не торопясь проехать по местам, связанным с его именем. У каждого найдётся для вас история о его мужестве, щедрости, верности, весёлом нраве и обаятельной мальчишеской непосредственности. Скорее всего, вы и сами поддадитесь очарованию этих добрых рассказов и, не успев оглянуться, почувствуете романтическую симпатию к идеализированному образу героической и полной приключений юности.

Присядьте, например, на одну из скамеек в тени деревьев на старой площади Санта-Фе, где некогда завершали свой долгий путь через равнины караваны повозок. Сюда, в старинную столицу края mañana и солнечного света, каждый день приходят богатые и бедные, чтобы скоротать часок, покурить и поговорить о политике. Заведите с каким-нибудь неторопливым горожанином разговор о Билли Киде. Его лицо тотчас озарится; он прервёт свою обличительную речь против взяточничества и коррупции в верхах и пустится в бесконечные рассказы. Да, Билли Кид жил здесь, в Санта-Фе, ещё мальчишкой. Много раз, уже будучи преступником, за голову которого назначили награду, он въезжал в город и всю ночь танцевал в танцевальном зале на улице Гальистео. Дом стоит и теперь — розовая постройка из адоба с голубой дверью и голубыми ставнями. Пыталась ли полиция арестовать его? Как бы не так. Эти парни в синих мундирах дорожили собственной шкурой. Да ведь тот мальчишка и самого дьявола не боялся. Вот послушайте, однажды там, в Антон-Чико…

Или загляните в какой-нибудь небольшой дом из адоба в Пуэрта-де-Луна. Или в Санта-Розе. Или на реке Ондо. Или где-нибудь между Ратонскими горами и Севен-Риверс. Возможно, мексиканская хозяйка угостит вас фрихолес, тортильями и кофе с козьим молоком. Если вы

знакомы с мексиканскими обычаями, то оторвёте кусочек тортильи, сложите его между пальцами наподобие ложки и станете есть им фрихолес — фасоль, красную от перца чили и плавающую в похлёбке, щедро сдобренной жиром от бекона. Но между порциями этой божественной фасоли — а вы готовы будете поклясться, что она божественна, если только хоть что-нибудь смыслите в фасоли, — не забудьте как бы между прочим упомянуть Билли Кида. Тогда понаблюдайте за лицом хозяйки. При упоминании волшебного имени она ласково улыбнётся, и глаза её озарятся мечтательным светом.

«Биллии Киид? Ах, вы слышать о нём? Он был один замечательный мальчик, сеньор. Все мексиканцы ему друзья. Вы никогда не слышать, чтобы мексиканец сказал дурное слово о Билли Кииде. Все любить этого мальчика. Он был такой добросердечный, такой щедрый, такой смелый. И такой красавец, Nombre de Dios! Каждая маленькая сеньорита была от него без ума. Все они старались поймать этого Билли Киида себе в возлюбленные. Ах, сколько хорошеньких мучач выплакали все глаза, когда его убили; и когда девушка перебирала чётки на мессе, она прибавляла ещё одну молитву за упокой его души. Бедный Билли Киид! Он был хороший мальчик — muy valiente, muy caballero».

Или спросите о нём Фрэнка Коу. Теперь вы найдёте его седовласым стариком на его фруктовом ранчо в каньоне Риудосо. Он сражался бок о бок с Кидом во время войны в округе Линкольн, и, пока он рассказывает свою историю, вы можете сидеть в кресле-качалке под тополями, слушая, как река Риудосо поёт свою приятную песню за длинным одноэтажным домом ранчо, сложенным из адоба.

«Билли Кид, — говорит Коу, — некоторое время жил у меня вскоре после приезда в округ Линкольн осенью 1877 года. Это было незадолго до того, как он поступил работать к Танстоллу на Фелис. Нет, у меня он не работал. Просто жил со мной. Кормился где придётся, переезжая с ранчо на ранчо. Тогда у него не было другого определённого места, где можно остановиться. Той зимой он много охотился. Билли был превосходным охотником, а холмы здесь кишели дикими индейками, оленями и медведями коричного окраса. Билли мог попасть медведю в глаз с такого расстояния, с какого я едва различал самого медведя.

«Ему было всего восемнадцать лет, и трудно было встретить юношу приятнее на вид, да и собеседник он был на редкость славный. Сколько ночей мы с ним просидели у костра из смолистых сосновых сучьев, рассказывая друг другу всякие истории. Да, он уже тогда убил немало людей, но, казалось, это его ничуть не тяготило. Нисколько. Думаю, призраки никогда не тревожили Билли. Он был одним из самых весёлых невысоких омбре, каких я встречал. Вовсе не мрачный и угрюмый, а разговорчивый, и мне казалось, половину времени он проводил смеясь.

«Вы и представить себе не можете, как умел стрелять этот парнишка. Но не был он стрелком, который никогда не промахивается. Я слыхал про таких безошибочных стрелков, да только ни одного не довелось встретить. Билли стрелял из шестизарядного револьвера лучше всех, кого я видел, но иногда и он промахивался. Джесси Эванс, который воевал на стороне Мёрфи, любил хвастаться, что стреляет не хуже Кида, но я так никогда не думал, а ведь я знал Джесси и видел, как он стреляет. Между прочим, Джесси ещё и говаривал, что не боится Билли Кида. Это было лишь очередное его хвастовство. Он до смерти боялся Кида, и однажды, когда они встретились в Линкольне, Билли заставил его струсить и покориться, да ещё так, что тому пришлось с этим смириться. Билли много упражнялся в стрельбе на ранчо и изрешетил сарай пулями. Я слыхал от людей, будто они видели, как он разрядил весь револьвер в шляпу, подброшенную примерно на двадцать футов вверх, и попал в неё шесть раз, прежде чем она упала на землю. Не стану говорить, что он на такое не был способен, но сам я этого не видел. Одной из его любимых забав было стрелять в зимних птичек, сидевших на столбах изгороди вдоль дороги, когда он проносился мимо галопом. Иногда он убивал подряд полдюжины птиц, а потом несколько раз промахивался. В среднем он попадал примерно одним выстрелом из трёх. И я скажу, что это была чертовски хорошая стрельба.

«Билли немного учился в школе и умел читать и писать ничуть не хуже остальных здешних жителей. Я ни разу не видел, чтобы он читал книги, зато газеты он читал с большим увлечением всякий раз, когда мог какую-нибудь раздобыть. Из газет он почерпнул немало знаний. Он не разговаривал как деревенский неуч. Не думаю, чтобы он много знал о правилах грамматики, но грубых и очевидных ошибок, свойственных необразованным людям, не делал. Он говорил как умный и довольно хорошо образованный человек. Мысли у него были чистые; разговор никогда не бывал грубым или пошлым; и хотя большинство его приятелей ругались как пираты, он редко произносил бранное слово.

«Он был душевным, щедрым парнем. Ради друга он отдал бы последнюю рубашку. Деньги доставались ему легко, когда вообще доставались; но иной раз их не было вовсе. Он был игроком, и, как у всех игроков, жизнь его складывалась так, что сегодня ему доставалась курица, а завтра — одни перья, сегодня карманы были полны денег, а назавтра он оставался без гроша. Больше всего он любил игру монте; в зависимости от того, как обстояли дела с деньгами, он то держал банк, то играл против банка. Карты он сдавал ловчее любого, кто когда-либо брал в руки колоду, а как игрок был хитёр, обычно удачлив и ставил по-крупному — предельную ставку на каждом ходу. Пока он жил у меня, то и дело спускался по каньону в Сан-Патрисио и разорял там мексиканский банк в игре монте. Если ему случалось проиграть, он принимал это как настоящий игрок и, скорее всего, отпускал шутку, после чего уходил насвистывая, засунув руки в пустые карманы. Проигрыш никогда не приводил его в ярость. По правде говоря, за все несколько лет нашего знакомства я ни разу не видел Билли Кида рассерженным.

«Думайте что хотите, а у Кида были твёрдые принципы. Он был одним из самых честных людей, каких я знал, если не считать его довольно вольных взглядов на угон скота. Разумеется, это было воровство, но я не думаю, что он сам воспринимал его именно так. Казалось, для него в этом не было ничего личного. По равнинам бродил скот, хозяев которого нигде не было видно, и ничто, кроме тавра, не указывало на то, кому он принадлежит, так что животные казались частью пейзажа. Билли, бывший на свой лад этаким властителем значительной части этой местности благодаря своему шестизарядному револьверу, полагал, должно быть, что имеет на этот скот своего рода право собственности, и угнать животных, чтобы продать на ближайшем рынке и получить деньги, не казалось ему грабежом — во всяком случае, не совсем. По крайней мере, так можно это объяснить. Но что до иных низких разновидностей воровства — например, нападения на одинокого путника на большой дороге, взлома чужого дома или карманной кражи, — то он был столь же далёк от подобных дел, как вы или я. Я доверил бы ему последний доллар, какой у меня был на свете. Одно несомненно: за всю свою жизнь он не украл у друга ни цента».

История Билли Кида уже окутана легендами. Хотя со дня его смерти прошло менее пятидесяти лет, не всегда легко отделить факт от мифа. Историки побаивались его, словно этот смертельно опасный мальчишка с шестизарядным револьвером мог нанести непоправимый ущерб их репутации, вздумай они всерьёз описать жизнь, с такой ясностью напоминающую историю из десятицентового романа. В результате историческая наука оставила его без внимания. По мере того как рассказы о нём повторяли снова и снова, к ним прибавлялись фантастические подробности. Он уже начинает превращаться в героя «Песни о Нибелунгах» американского Юго-Запада. Вокруг него накопилось столько историй, что можно с уверенностью предположить: что бы ни делала историческая наука, пытаясь восстановить факты его жизни, народная легенда в конце концов превратит его в Робин Гуда Нью-Мексико — героического разбойника, наделённого всеми благородными качествами и ведущего борьбу простого народа против тирании богатства и власти.

По всему Нью-Мексико можно услышать бесчисленные истории, в которых Билли Кид выступает полумифическим героем. Их рассказывают у каждого костра на пастбищах; они оживляют зимние вечера в каждом мексиканском доме. В каждой, несомненно, есть зерно

правды, но на всех лежит отпечаток искусства трубадуров. Вы не найдёте их в книгах, и главный их интерес, пожалуй, заключается в том, что это образцы устного предания, сохраняемого в памяти и передаваемого рассказчиками от одного поколения к следующему в гомеровской череде. Это фольклор в самом процессе становления. Поскольку каждый рассказ прибавляет здесь немного драматизма, а там — живописную подробность, невольно задумываешься, какой облик примут эти легенды с течением времени и в каких героических пропорциях предстанет Билли Кид в сказках, рассказываемых у домашнего очага, лет через сто или около того.

ГЛАВА VI

ДИТЯ ТЁМНОЙ ЗВЕЗДЫ

На протяжении всей своей жизни, полной мрачных приключений, Билли Кид был известен не под настоящим именем, а под прозвищем. Его подлинное имя, в сущности, не так уж важно; как бы его ни звали, стрелял бы он столь же метко; но звали его Уильям Х. Бонни, и родился он в Нью-Йорке 23 ноября 1859 года. Уильям Х. и Кэтлин Бонни, его родители, о прошлом которых ничего не известно, переселились в 1862 году в Коффивилл, штат Канзас, взяв с собой трёхлетнего Билли и его младшего брата, ещё младенца по имени Эдвард.

Когда маленький Билли Бонни, едва научившись ходить, бродил по улицам Коффивилла, городок представлял собой всего лишь кучку лачуг на малоизвестной окраине обжитых земель, в стороне от боевых действий Гражданской войны, которая тогда шла полным ходом. Всё, что известно о семье Бонни за время её пребывания в этом маленьком канзасском городке, сводится к тому, что отец Билли умер и был там похоронен. Вскоре после этого вдова с двумя детьми перебралась в Колорадо.

В те дни Колорадо было самым дальним Западом, лежавшим за Великой американской пустыней и получившим смутную славу страны золота благодаря золотоискательской лихорадке у Пайкс-Пика несколькими годами раньше; Денвер, главный город края, насчитывал всего две-три тысячи жителей и сообщался с внешним миром посредством конной почты, доставлявшей письма в Ливенворт за десять дней по тарифу двадцать пять центов за унцию. Каким образом миссис Бонни пересекла равнины и в каком именно городе Колорадо поселилась, неизвестно; но, где бы это ни было, она вышла замуж за человека по фамилии Антрим и вскоре отправилась в Санта-Фе, средоточие старинной испанской цивилизации в верхнем течении Рио-Гранде.

Должно быть, маленькая семья ехала в повозке, следуя горной ветвью Санта-Фейской тропы через мексиканское селение Тринидад с его домами из адоба, стоявшее на реке Потерянных Душ, затем через перевал Ратон в Нью-Мексико; и нетрудно вообразить, как маленький Билли широко раскрывал глаза от изумления, когда почти прямо над его головой вздымались четырёхугольные бастионы пика Фишер, по-своему прекраснейшего среди гор, а плосковершинные горы Ратон уступами спускались к горизонту вереницей столовых возвышенностей. Там, на севере, поднимались две вершины Испанских пиков; а вдоль юго-западной части неба громоздился белый хаос Сангре-де-Кристо, гор Крови Христовой, названных так первыми падре, которым вечные снега представились обагрёнными закатом. Склоны покрывали сосновые леса; долины походили на глубокие чаши, наполненные сиреневатой дымкой; а неровная дорога для повозок лепилась к гранитным стенам и огибала обрывы, где всего в нескольких дюймах от края зияла пропасть глубиной в тысячу футов, точно так же, как и широкое автомобильное шоссе через перевал в наши дни.

После прибытия в Санта-Фе Билли и его мать несколько отчётливее выступают на полотне повествования. Мальчику тогда было пять лет, и он прожил в этом живописном старом городе три года, в течение которых его мать содержала пансион. Кое-кто из старожилов и поныне помнит этого ребёнка — бойкого уличного сорванца, игравшего с мексиканскими детьми, катавшего шарики возле старого Дворца, овеянного преданиями, пускавшего волчки на земле, освящённой первыми падре и конкистадорами; вместе с другими маленькими обо-

рванцами, восторженно поклонявшимися героям, ходившего по пятам за Китом Карсоном всякий раз, когда прославленный старый разведчик и боец с индейцами приезжал в город из своего дома в Таосе, находившегося в девяноста милях; не отрывавшего глаз от торжественного великолепия религиозных празднеств и процессий и приходившего в восторг при виде караванов крытых фургонов, каждое лето прибывавших по Санта-Фейской тропе и наполнявших старинную площадь суетой и возбуждением далёких романтических приключений.

В 1868 году Антримы перебрались в Силвер-Сити, на юго-западе Нью-Мексико, — серебряный приисковый городок в пору его буйного расцвета. Здесь Антрим работал на рудниках, а его жена открыла ещё один пансион. Билли, которому к их приезду исполнилось восемь лет, начал ходить в школу. Эш Апсон, один из постояльцев миссис Антрим, оставил свидетельство, что Билли был способным учеником и хорошо успевал по предметам. «В детстве, — говорит Апсон, — у него был весёлый, солнечный нрав, но при этом и вспыльчивый характер, и, когда он впадал в ярость, никто не мог с ним совладать».

Четыре года Билли прожил здесь, в Силвер-Сити, рано превращаясь во взрослого юношу. Город был грубым и беззаконным, полным салунов и игорных домов, дурных мексиканцев и ещё худших белых. Для любого мальчишки это была настоящая дьявольская школа, и Билли превосходно усвоил её уроки. Он близко сошёлся с местными головорезами, околачивался в салунах, наблюдал за игрой картёжников и вскоре обнаружил природную, почти невероятную сноровку в обращении с картами. К мальчику с такими способностями игроки благодушно снисходили, обучая его своим уловкам. Под их опытным руководством Билли научился искусно сдавать карты в стад-покере и монте, подтасовывать колоду, сдавать с нижней карты, прятать карту в ладони и обыгрывать партнёра с помощью жульничества так, чтобы тот ничего не заметил. Очень скоро он освоил все ловкие хитрости нечестного картёжника, игравшего короткой колодой. И всё это в возрасте, когда мальчишки в местах с менее суровыми нравами ещё забавляются волчками и шариками.

Именно в Силвер-Сити, когда ему было двенадцать лет, Билли впервые убил человека. Его мать вместе с Билли шла из дома в торговую часть города за покупками. Представьте себе эту пару: мать в клетчатом платье из хлопчатобумажной ткани и шляпке от солнца, с лицом, по описаниям, добрым, честным и несколько печальным; рядом — стройный, подвижный мальчик, идущий быстрым, энергичным шагом, с виду счастливый, беззаботный ребёнок, если не считать его серых глаз, слишком много знавших для такого возраста. Перед одним из салунов бездельничала группа мужчин, среди них молодой кузнец, слывший в городе грубияном и задирой. Когда Билли с матерью проходили мимо, кузнец, быть может слегка подвыпивший, бросил какое-то легкомысленное замечание в адрес миссис Антрим, возможно намереваясь с ней пофлиртовать. Мальчишка в его глазах ничего не значил. Но Билли тотчас вспыхнул от ярости и негодования, схватил камень и изо всех сил швырнул его в голову человеку, оскорбившему его мать. Камень сбил с кузнеца шляпу; угоди он на дюйм-другой ниже, пришёлся бы прямо в лоб и, вероятно, убил бы его. Оставшись невредимым, но пылая гневом, кузнец бросился на Билли, который увернулся и выбежал на улицу. У края тротуара стоял человек по фамилии Моултон; когда кузнец промчался мимо, Моултон ударом кулака свалил его с ног, а когда тот поднялся, сбил снова. Это грубое проявление рыцарства, вполне соответствовавшее духу шахтёрского городка, избавило Билли от взбучки и на время положило конец происшествию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.